

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СТАТЬИ
ВОЕННЫХ
ЛЕТ



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“

• 1946 •

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СТАТЬИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Издательство „Правда“

1946 г.

Наша Москва

Русская зима вступает в свои права. Ровный чистый снег ложится на поля... но чужим поганым следом затоптаны нынче дороги к милой столице. Враг упорно рвется к Москве. Один на один бьемся мы с бедой, грозящей всему свету. Все умное и живое, затаив дыханье, следит за эпизодами беспримерной схватки, потому что здесь решается судьба человечества: оставаться ему свободным или, утратив всё, с арканом на шее пойти в арьергарде свирепых фашистских орд.

Москва! На картах мира нет для нас подобного, наполненного таким содержаньем слова. Возможно, современем возникнут города на земле во сто крат многолюдней и обширней, но наша Москва не повторится никогда. Москва — громадная летопись, в которой уместилась вся история народа русского. Здесь созревало наше национальное самосознанье. Здесь каждая улица хранит воспоминанья о замечательных людях, прославивших землю русскую. Здесь были встречены и развеяны во прах многие бедствия, которыми история испытывала монолитную прочность Русского государства. Отсюда народ русский в сопровождении большой и многоплеменной семьи народов двинулся в светлое свое будущее. Здесь, тотчас после Ленинграда, прогремели залпы Октября, чтобы победным эхо разнеслись дальше по стране. Здесь закладывал фундамент новой социальной системы Ленин.

Слишком много воспоминаний у нас в Москве, и потому Родина полна решимости защищать этот древний мировой город. Сюда шлёт она свои полки и оружие. На недавнем ноябрьском параде это она аплодировала Сталину, поднимаящемуся на трибуну, это она шагала в ногу со своими героями под звуки оркестров,— по утрам, слушая фронтовую сводку, это она очами сердца видит утренние московские улицы... Ещё дымятся кое-где мирные дома, разбитые прошлой ночью, ещё вдалеке ухают зенитки, провожая убегающихочных убийц, а уже героические московские люди спешат в цеха и учрежденья: всё подчинено фронту. Всею индустриальной громадой поработённой Европы напирает на нас враг, но никогда Гитлер не увидит коленопреклоненной нашу Москву.

С каждым днём крепнет ярость нашего народа. Сомнительные по своему значению успехи германского фашизма не привели пока ни к чему. Как и четыре месяца назад — конца войны не видно. Больше того, владеть сегодня Европой — это все равно, что владеть пороховым погребом, где под ногами бегут и тлеют искры. Напрасно враг пытается трупами своих солдат завалить пропасть, отделяющую Германию от победы: бездонна эта расщелина смерти!

Когда слушаешь разговоры советских людей, то не хватливая угроза звучит в них, не смутное упование на какую-то счастливую случайность, а прежде всего — вера в свою историческую судьбу. Нам много еще предстоит поработать в мире, чтобы стал он краше, справедливей и желанней, и первая среди неотложных всечеловеческих наших задач — в сотрудничестве с сильнейшими народами мира избавить землю от фашизма.

Народ сравнивает гитлеровское чудовище с лесным зверем, которого рогатиной встречали бывальные русские богатыри. Известно, что даже когда лезвие уже глубоко уходило в волосатое изнемогающее тело, зверь всё ещё

продолжал свое движение. Он напирал, не чуя боли и со-
знаявая чутьем, что остановиться даже ненадолго — зна-
чит рухнуть замертво мордой в снег. И вот уже только
отчаянье становится движущей силой его нападенья. В
эту решающую минуту — выдержит ли, выдюжит ли
русская рука?

— Выдержит, выдюжит, товарищи!

Пройдут годы. Как мрачный сон планеты склынет в
небытие гитлеровский эпизод. Новые весны обольют
своим цветом пожженные, подавленные танками наши
сады. Будущий археолог, копаясь в подмосковных су-
глинках, отыщет — наравне с полусгнившими от древней-
ших времён — и множество свежих вражеских костей и
черепов, вперемежку со ржавыми остатками железных
машин: останки преступников и орудий их преступлений.
Чёрным словом вспомнят люди этих дикарей, возомнив-
ших себя владыками мира, и с благодарностью произнес-
ут имена славных защитников Москвы, которая жила,
боролась, трудилась и — не была сдана.

Бывают минуты, которые стоят вечности. В такое вре-
мя живёшь ты, наша Москва!

«Красный флот», 25 ноября 1941 г.

Твой брат Володя Куриленко

Набатный колокол бьёт на Руси. Свирепое лихо ползёт по родной стране. Безмолвная пустыня остаётся позади него. Там кружит ворон, да скулит ветер, пропахший горечью пожарищ, да шарит по развалинам многорукий иноземный вор...

Второй год от моря до моря, не смолкая ни на минуту, гремит стократное Бородино Отечественной войны. Утром шелестит газета в твоей руке, мой безвестный читатель. И вместе с тобою вся страна узнаёт о событиях дня, с грохотом отошедшего в историю. Ещё один день, ещё одна ночь беспримерной схватки с врагом миновала. С благоговейной нежностью ты читаешь про людей, которые вчера сложили свои жизни к приножью великой матери. Кажется, самые тени великих предков наших обнажают головы и склоняют свои святые знамёна пред ними. Какой могучий призыв к подвигу, мужеству и щадению заключен в громовом шелесте газетного листа!

И ещё громче орудийных раскатов звучит в нём тихое и строгое, как молитва, слово героя:

— За свободу, честь и достояние твоё... в любое мгновение возьми меня, родина. Всё мое — последний жар дыхания, и пламя мысли, и биение сердца — тебе одной!

Многие из них уже отошли навеки к немеркнувшим верб

шинам славы, — воины, девушки и дети, женщины и старцы, принявшие на себя благородное звание воина. Нет, не устыдятся своих внуков суровые и непреклонные пращуры наши, оборонявшие родную землю в годы былых лихолетий. Никогда не поредеет это племя богатырей, потому что самый слух о герое рожт героев. Там, в аду несмолкающего боя, стоят они плотным строем, один к одному, как звенья на стальной кольчуге Невского Александра. Весь свет дивится нынче закалке и прочности этой брони, о которую разбиваются свирепые валы вражеского нашествия. Нет такой человеческой стали нигде на Западе. И в мире нет такой. Она изготавливается только у нас.

Слава вам, сыны великой матери!

Нам знакомы тысячи знаменитых имён современников наших во всех областях мирной человеческой деятельности. Мы гордимся ими и каждого знаем в лицо. Славные машинисты и шахтёры, хирурги и сталевары, строители материальных очагов нашего счастья, изобретатели умнейших машин, мастера неслыханных рекордов, музыканты, художники, певцы... Ими, как ковром пёстрых и благоуханных цветов, усеяны наши необъятные пространства. И вот мы услышали новые имена людей, которые в огне сражений или в бессонной партизанской ночи отдали себя родине. Они стоят перед нами во весь свой исполнительский рост, светлее солнца, без которого никогда — ни в прошлом, ни в будущем нашем — не цвели бы такие цветы на благодатной русской земле. Воистину непобедим народ, который родил их!

Сверкающей вереницей они проходят перед лицом отечества. Опалают разум картины их нечеловеческой отваги. Вот юноша-красноармеец заслоняет собою амбразуру пулемётного гнезда, чтобы преградить дорогу смерти и обезопасить идущих в бой товарищей. Вот сапёр, когда

разбило осколком его миноискатель, голыми руками, нащупь и в сыпучих сугробах по пояс, расчищает перед штурмом минированное поле. Вот, приколот, как реликвию, поверх бушлатов клочки нахимовского мундира, ёдет в последнюю атаку севастопольская морская пехота...

Кто вырастил тебя, гордое и мужественное племя? Где ты нашло такую силу гнева и ярость такую?

Родина скорбит о павших, но забвенье никогда не поглотит памяти об этих лучших из её детей. Грозен и прекрасен лётчик Гастелло, который крылатым телом своим, как книжалом, ударили в гущу вражеской колонны. Легендой прозвучал подвиг двадцати восьми братьев, которых сроднила смерть на подмосковном шоссе. Бессмертен образ комсомолки Зои, которую мы впервые увидели на белом снегу газетной страницы в траурной рамке. Вся страна пытливо вглядывалась в это красивое лицо русской девушки. Ни смертная мука, ни ледяная могила не смогли стереть с него выражение бесконечной решимости и прощальной улыбки милой родине... Созвездия надо бы называть именами этих людей, смертью поправивших смерть!

Память народа — громадная книга, где записано всё. Народ наш хорошо помнит причиненное ему горе. Не забудем ничего; ни даже сломленного в поле колоска. Есть и у нас кому мстить, завоеватели!

Когда стихнет военная непогода, и громадная победа озарит дымные развалины мира, и восстановится биение жизни в его перебитых артериях, лучшие площади наших городов будут украшены памятниками бессмертным. И дети будут играть среди цветов у их гранитных подножий и грамоте учиться по великой заповеди, начертанной на камне:

— Любите родину свою, как мы её любили!..

Но ещё прежде, чем историки, скульпторы и поэты найдут достойные формы для воплощения беззаветных свершений героев, а отечество оденет в бронзу их образы, следует любыми средствами сохранить в памяти хотя бы самые незначительные из живые черты. Запомни их лица, друг! Запомни навсегда эту гордую, по-орлиному склоненную к земле голову Гастелло, и хмурые, опалённые пламенем неравного боя лица двадцати восьми, и строгий профиль Зои, и честный, простой, как небо родины, взор партизана Володи Куриленко.

Мы не знали его в лицо, хотя он жил среди нас, скромно выполняя повседневную свою работу. Это обыкновенный человек наших геронческих будней. Трудно начертить спокойный его портрет нашими обиходными словами. Могучие воины, его овеянные славой соратники, не много рассказали о нем. Еще гремят поля войны, долго каждое мгновенье, и скрупультно цедятся нежные слова.

Знакомься же с ним, современник!

Вот он стоит перед тобой, Владимир Тимофеевич Куриленко, голубоглазый, русоволосый русский парень, совсем юный. Он родился 25 декабря 1924 года. Семнадцать лет ему исполнилось в партизанском отряде, когда он умел уже не только стрелять, но и попадать в самое сердце немца. Природа одарила всем этого юношу. Он был, как тот, павший за родину в битве на Калке, великолепный Даниил, о котором с предельной и сердечной ясностью сообщил летописец: «...был он молод, и не было на нем порока с головы до пят». И если любой, наугад взятый молодой гитлеровец — законченный пример средневековой низости, Владимир Куриленко — отличный образец честного, деятельного юноши нашей эпохи.

Итак, он сын учителя на Смоленщине. Восемь лет провёл он в школе. В нём рано проснулся дар организатора: он руководил ученическим комитетом, пионерским отря-

дом, потом комсомольской ячейкой. С малых лет его влекло к себе широкое океанское раздолье, где человек меряется со стихией волей и выдержкой своими. Но природа не поместила на Смоленщине седого и грозного океана, который грезился Володе. Всё же Володя создал отряд «юных моряков», и уж, наверно, армады детских корабликов ходили по тамошней речке, и уж, конечно, адмиралом среди товарищей своих был этот статный и крепкий паренёк...

Позже его в особенности влекла романтика военного дела. Хотелось ему также строить и изобретать. Он даже сердился на свою молодость, мешавшую ему поступить в Ленинградскую военно-инженерную школу. Он был принят туда 6 июня 1941 года,— все, даже самые мелкие даты важны в этой краткой и такой ёмкой биографии. Уже сбывалась мечта... и не сбылась, разрушенная, как и миллионы других молодых мечтаний, вторжением немецких громил. Ленинград был отрезан фронтом. Германская орда потекла на Русь. Юношеская склонность Володи к военным занятиям пригодилась; больше того — она стала потребностью дня. Такова первая страница в анкете героя.

Как быстро в военное время растут и мужают наши дети!.. Когда первые немцы появились в володиных местах, где каждый кустик, каждую полянку он любил с неосознанной ещё детской привязанностью, он сразу занял своё место рядом со взрослыми. Видимо, и отец Володи принадлежал к той замечательной категории народных учителей, которые собственным примером своим учат молодых граждан поведению в жизни. Гимофея Куриленко встретил гитлеровских посланцев пулёмётным огнём, и два сына его, Владимир и пятиадцатилетний Геннадий, помогали ему при этом.

— Учитесь, учитесь, детки, этой азбуке войны, без ко-

торой пока нельзя быть спокойным за своё счастье на земле...

Это был новый вариант старинной и любимой уже песни — о Трансваале, о родине, горящей в огне, и об отце, который повёл своих юных сыновей бороться за свободу. Засада Тимофея Куриленко изменила направление неприятельского удара. Свернув с намеченного пути, немцы наткнулись на регулярные части Красной Армии и были искрошены. Полтораста вражеских трупов и десятки разбитых машин — вот первое наглядное пособие, которое народный учитель показал своим сыновьям.

Несколько позже, в августе 1941 года, Володя самостоятельно организует партизанский отряд из ребят своего селения. Он сам становится педагогом в этой боевой школе. И вот наступает первый скромный урок — первая встреча с завоевателями, покорившими пол-Европы. Мальчики мужественно ложатся в засаду у дороги. Грузовая машина, громыхая железной посудой, проходит совсем близко. И вровень с нею стволы винтовок движутся в высокой траве. Ребята хорошо знают незваных гостей; это «доильцы», сборщики молока для германской армии. Кроме молока, они отбирают яйца, хлеб, мясо, вилки и ножи, сарафаны и вёдра: доброму вору всё впору!.. В особенности вон тот, что сидит поверх бидонов, знаком и ненавистен Володе. Этот выдающийся мастер немецкого разбоя, отлично изучивший русский язык в пределах своей грабительской деятельности, давно заслужил добрую порцию партизанского свинца.

— Огонь! — сурово произносит мальчик.

Гремит нестройный залп.

Хрипят тормоза, машина останавливается. Володя сердито кусает губы: эх, столько промахов враз, да ещё по такой мишени! Выскочив, немцы залегли под откосом, — все, кроме того, белесого, который медленно, оскалив

зубы, сползает с бидонов. Какое розовое молоко хлещет сквозь щели автомобильного кузова!.. Жаркая перепалка. Необстрелянныё волонтиры юнцы разбегаются с поля боя. Значит, это дается не сразу... Хорошо! Оставшись один, Володя припадает к пулемёту: «Вот я их!» Одиночный выстрел, очереди не последовало. Второпях растерялся и сам командир: что это, поломка пулемёта? Он же сам чистил и разбирал его накануне... Полудетское замешательство: в мгновенье ока надо припомнить всё, что проходили на специальных занятиях в школе.

— Так почему же, почему же он не стреляет? Забыл, забыл... — шепчут губы.

Это похоже на экзамен, на грозный экзамен, где экзаменаторами — жизнь и смерть... В минуту затишья немцы вскакивают на машину. Володя снова хватается за винтовку: это проще. Ага, ещё один свалился, точно нырнул в зелёную некошенную траву! А вот и немецкий офицер, согнувшись, хватается за живот.

— Смотри, не обожги себе утробы горячим русским молочком, майор!

Немецкий шофер успевает завести мотор. И только теперь Володя понял свою ошибку: он просто забыл нажать предохранитель. Машина пускается наутёк. Немцев гонят животный страх перед русскими партизанами. Закусив безусую губу, Володя посыпает вдогонку длинную, не очень меткую очередь.

А вечером в укромном месте, где-нибудь в уцелевшем овинне, состоялись, наверно, занятия в отряде. Никто не глядел в лицо друг другу, и с недетской серьёзностью звучал басок Володи:

— Ничего, товарищи! Учимся. Однако рассмотрим все-таки причины этой неудачной операции...

Конечно, он не бранил их; он всматривался в смущённые добрые лица крестьянских детей, искал слова под-

держки, чтобы разбудить в них споровку, стойкость и великую силу к сопротивлению. В конце концов немудрено, что случилась неудача. То была пора, когда вся страна лишь учились давать отпор внезапному врагу. Прославленная германская организованность, помноженная на массовый опыт всеевропейских убийств, применённая в гнусном деле разбоя и террора на нашей земле, казалась тогда чёрной и грозной силой. И Володя Куриленко знал, что этот первый урок ещё пригодится им впоследствии.

Рано закончилась юность у поколенья русской молодёжи времён Отечественной войны. Родина поставила их в самое горячее место боя и приказала стоять насмерть. Кто бы узнал теперь в молодом и строгом командире с незастёгнутой кобурой и гранатой у пояса мальчика Володю Куриленко, мечтателя и адмирала несуществующих морей? Хозяйская ответственность за судьбу страны легла на его плечи и как бы придавила их слегка. Суровая морщинка прочертилась меж бровей, тоньше и жёстче стали возмужавшие губы, и ещё твёрже сердце, познавшее радость мщенья и горечь разлуки с павшими друзьями.

В сентябре немцы высыпают уже крупные карательные отряды против партизанских сил, к которым присоединилась и группка Володи Куриленко. Началась лютая охота немцев на непокорное и непокорённое население. Отряд Куриленко был окружён в деревне. Уже каратели идут по избам, но командиру удалось проскользнуть сквозь самые пальцы ночной облавы. Несколько человек из отряда попадают в плен к фашистам. Приговор им вынесен заранее. Подобно прославленным восьми волоколамским комсомольцам-мученикам, они погибают на виселице.

Прошайте, юные мореплаватели, познавшие море жизни

в самую грозную штормовую ночь! Может быть, вы стали бы капитанами дальних плаваний и прокладывали новые трассы в ледяных пространствах севера... Верёвка иноземных палачей оборвала вашу мечту. Запомним: они заплатят вдесятеро. И на стальных бортах новёхоньких кораблей ваши имена много раз ещё обойдут все моря родины!

Каратели трудятся. Питекантропы в гестаповских мундирах убивают и жгут. Пепел и слёзы, слёзы и пепел — вот удел занятых врагом областей. Ничего, они — как споры ненависти, эти серые пепелинки: из каждой родится по герою. Дню всегда предшествует ночь... Партизанское движение в этом крае, кажется, совсем подавлено. Наступила чёрная осень 1941 года. Отступление красных армий. Первый снег кружится над поруганной землёй. Знойко и тихо в этой искусственно созданной пустыне, отгороженной от мира огневой завесой разрывов. Куриленко возвращается к отцу, в колхоз, и снова на некоторое время становится прежним Володей. Он отбивается от усталости и разочарования, что невольно крадутся в сердце: «Ничего, выстоим, выдюжим! Не для того мы рождались на свет... и ещё не допеты наши песни!»

Тайком он устанавливает радиоприёмник, — пригодилась детская любознательность. Вместе с родными в тёплые ночи он слушает передачи из такой близкой и такой далёкой теперь, осаждённой Москвы. Громче, громче бейте, часы на Спасской башне: миллионы преданных сердец слушают вас в эту ночь! А чуть забрезжит утро, Володя отправляется в путь, с ломтём хлеба за пазухой. Он разносит слова правды, которую узнал ночью, по всем отдалённым местностям района. В сельсоветах знают, любят и ждут его. Куриленко становится живой газетой. Трудное и почётное дело в условиях глубокого немецкого тыла и железных законов оккупации.

Идут месяцы. Декабрь. Могучие удары сибирских дивизий под Москвою. Эхо их разносится по всему миру, добивая глупый миф о непобедимости германских армий. Хмуро улыбается Жуков, и вытирает испарину с битой физиономии фон-Бок. Фронт снова приближается к родным володиным местам. Скоро, совсем скоро взметнётся под ногами поработителей эта измученная, расковырянная земля. А пока таись и жди своего часа, гордый мститель Смоленщины! И часто, отправляясь с добрыми вестями по тайным тропкам в самые глухие углы, к друзьям, он останавливался где-нибудь на опушке леса, этот коробейник новостей, и, прищурясь, глядел на железнодорожное полотно.

Дни прибывали. Слепил глаза крепнущий снежный наст.

Шёл очередной поезд с убийцами из Германии. Усердно пыхтели паровозные поршни, и то ли зимний ветерок подывал в ветвях, то ли постылая немецкая песня сочилась сквозь железную обшивку вагонов. Вражеские рожи прильнули к окнам изнутри. Любопытно было поглядеть, среди каких таких восточных просторов и немерянных русских лесов придётся им сгнивать в недалёком будущем...

И, наверно, улыбался Володя, думая про себя:

«Вот новая партия немецких покойников своим ходом, в живом виде, направляется к своим предназначенным могилам. Не вернётся ни один, ни один! Что ж, спешите, бравые подлецы!..»

И кстати считал вагоны с живым и платформы с мёртвым инвентарём, чтобы рассказать потом, кому следует, об этой встрече. Всякое знание полезно партизану.

...В январе не выдержало сердце. Володя уводит отца и брата в лес, в жгучую морозную неизвестность. Оказалось, там кочевал тогда отряд славного партизана, товарища Ш.

Часть февраля уходит на разведку, на установление правильной связи с Красной Армией. Приходится много раз пересекать огневую линию фронта. У Владимира Куриленко накапливается богатый опыт диверсий, шлифуется мастерство партизанского действия. Ненависть к врагу — вот всенародная академия, где он получал своё военное образование. Теперь уже никакая внезапность не застанет его врасплох. Зрелость входит в его трудную и чреватую опасностями юность. Партизан всегда бьётся с численно превосходящими силами противника. «Четверо против шестидесяти восьми? Ничего. Великая мать смотрит на нас. Вперёд!» И отступали, только израсходовав весь огневой запас.

Какое пламя гнева нужно было хранить в себе, чтобы не закоченеть в такие бездомные, метельные партизанские ночи!

Молодой Куриленко поспевает везде. Ему хватает времени на всё, точно он сторукий. Все партизанские специальности знакомы ему. Вот дополз слух о том, что в одной деревне организован полицейский отряд для борьбы с партизанами. Володе даётся поручение превратить в падаль изменников родины, и он с друзьями выполняет приказ. Это он за каких-нибудь полтора месяца, сообща с товарищами, спускает под откос пять вражеских поездов с боеприпасами и живым солдатским грузом. Это он взрывает мосты на магистралях и сообщает нашему командованию о заторах, образовавшихся на путях. И стан наших краснокрылых птиц расклёвывают дочиста скопления вражеских эшелонов...

Порою, кажется, юноша дразнит судьбу, как будто не одну, а сотню жизней подарила ему родина. И тут начинается широкая, как река, песенная слава партизана.

Умей расшифровать, увидеть в недосказанных подроб-

ностях сухую газетную сводку, современник! Это стено-
грамма народной войны. Сердцем патриота почувствуй,
глазами брата прочти эти скучные записи в партизанском
дневнике. Вот некоторые из них, скромная повесть о буд-
нях партизана:

«2.3.1942. Владимир Куриленко с товарищем А. при воз-
вращении в лагерь наткнулся на немецкую батарею. Пуле-
мётным огнём скошено 2 артиллерийских расчёта. Това-
рищ А. убит.

5.3.1942. Четверо, среди которых Владимир Куриленко,
вступили в бой с 68 фашистами. Убито три оккупанта,
один ранен.

30.3.1942. Партизаны нашего отряда, Владимир Кури-
ленко и бойцы отряда особого назначения, скинули под
откос поезд между станциями Л. и К. Убито 250 фаши-
стов.

10.4.1942. Крушение товарного состава на дороге
С.—Л. Одновременно подорвано соседнее железнодорож-
ное полотно. Владимир К.

13.4.1942. Подбита машина. Уничтожено 4 немца. Кури-
ленко с товарищами.

14.4.1942. На комсомольском собрании ответственным
секретарём президиума ВЛКСМ избран Владимир Кури-
ленко.

26.4.1942. Ещё один эшелон на перегоне К.—Л. спущен
под откос Владимиром К. Погибло 270 немцев. Взорван
паровоз и железнодорожное полотно на О. напра-
влении».

В этих скучно обозначенных эпизодах ничего нет о стре-
мительной дерзости, о высоком искусстве преодоления,
казалось бы, непреодолимых препятствий, об особенно-
стях партизанской жизни. Каждую минуту бодрствования
или тревожного, урывками, сна находится в окружении!
И в самом кратком, почти бесцветном эпизоде от 13 апре-

ляя ничего не сказано про обстоятельства очередной схватки с противником. Приблизь к глазам эту скромную запись, современник!

Ранняя шла в том краю весна. Талая кашица стояла под снегом, почернелым и источенным, хрупким, как стеклянное кружево. Уже на возвышенностях, где днём привревало солнышко, глубоко увязали ноги. Троє, во главе с Володей Куриленко, шли на выполнение боевой задачи. О, столько раз описанное в литературе предприятие и ни разу не описанное до конца: мост. Река встала на их пути. Слабо мерцал в сумерках синий, истончавший ледок, кое-где уже залитый водою. На задней кулисе туманного леска тревожно чернел силуэт самой цели. По зыбкому, гибельно смущенному льду, чуть схваченному вечерним морозцем, подрывники перешли реку. Оставался ещё ручей; он клокотал и шумел всеми голосами весны. Пришлось перебираться вброд. К мосту подошли уже мокрые по пояс... Спокойно и деловито закладывали кегли, когда Миша, товарищ Куриленко, сигнализировал о приближении вражеской автомашины. Жалко было упускать и эту, маленькую, цель. Здесь было достаточно удобное место для засады, в глубоком затоне ручья. Троє залегли в воду; только глаза, злые и зоркие глаза их остались над поверхностью...

Мы не знаем, как тянулись эти минуты ожидания. Те, которые ещё боятся с врагом на Смоленщине, расскажут потом подробнее про этот вечер. Наверно, пронзительная тишина стояла в воздухе. И, может быть, Володя спросил шопотом, чтобы шуткой поддержать товарища:

— Что, не промок, хлопец?

— Кажется, коленку замочил ненароком, — шуткой же отвечал тот.— А что?

— Ничего... Смотри, не остудись. Этак и насморк можно заработать.

Ближе стеклянныи хруст ледка в подмёрзших колеях.
Вот и свет фар показался на дороге. Кто-то шевельнулся
в засаде. Жёлтые латунные блески пробежали зыбью
на воде.

— Начнём с гранаты, хлопцы!

Трудно кидать эту чугунную игрушку закоченевшей
рукой. Но не промахнись, партизан: их больше. Взрыв — и
мгновение спустя басовитое одобрительное эхо вернулось
от леска к засаде Куриленко. Машину почти сошвырнуло
с дороги, но она ещё двигалась. «Теперь стрелять...» Че-
тырёх убили, пятерых ранили; безотказно действовал
ППД. Из строений ближней МТС, где расположились
немцы, уже бежали, галдя и стреляя наугад, полуодетые
фигуры солдат. Обшарили, прострочили всякий кустик,
черневший на берегу, но всё было неподвижно: и вода, и
мёртвые солдаты на завоёванной ими земле, и дальний
лесок, охваченный чутким безмолвием весны...

Она вступила в свои права, весна. Повеселели лужки
на припёках; тонким, почти бесплотным туманцем оку-
тались рощи. И птицы, каких ещё не разогнал орудийный
грозот, шумели иногда в лесных вершинках. Подступала
пора великих работ на земле, и не было их — мешали
немцы. Злее становились удары исподтишка, в затылок
врага. И ровно месяц спустя после памятной операции
наступил отличный вечер, уже проникнутый тончайшим
ароматом целомудренной русской флоры. Снова отправ-
лялись в путь партизаны, и опять их было трое, с Кури-
ленко Володей во главе. Теперь они свою взрывчатку за-
ложили под железнодорожное полотно и терпеливо жда-
ли, как ждёт рыболов своей добычи на громадной и без-
ветренной реке.

Сбивчивые стуки пошли по рельсам; земля подсказала
в ухо партизану:

— Пора!

Володя выждал положенное время и крутнул рукоятку заветной машинки. И тихий русский вечер по-медвежьи, раскоряко, встал на дыбы и чёрную когтистую лапу взрыва обрушил на вражеский эшелон. Гаркнула тишина; вагоны с их живой начинкой посыпались под откос, вдвигаясь один в другой, как спичечные коробки... И где-то невдалеке трое юношей, исполнители казни, бесстрастно наблюдали эту страшную окрошку из трёхсот фрицев.

— Люблю большую и чистую работу, — сквозь зубы прощедил Владимир Куриленко и повернулся уходить.

Он был весёлый в тот вечер. Легко и вольно дышалось в майском воздухе. И хорошо было чувствовать, что родина опирается о твоё надёжное комсомольское плечо... Они шли молча, и необъятная жизнь лежала перед ними в дымке юношеских мечтаний. На ночь они расположились в деревне С., и никто не знал, что это была последняя ночь Володи.

В полночь деревня была охвачена кольцом карательного отряда. Началось избиение людей, не пожелавших выдать спрятанных партизан. В перестрелке был насмерть сражён друг и соратник Володи комсомолец К. Сам Куриленко, раненный в голову и живот, продолжал отстреливаться. Каратели подожгли дом. Пламя хлестнуло в окна, зазвенело стекло, чёрная бензиновая копоть заструилась в нежнейшем дыхании ночи. Тогда товарищ Володи, А., владевший языком врага, крикнул по-немецки в окно:

— В своих стреляете, негодяи!.. Кто, кто стреляет?

Пальба прекратилась, и в этот краткий миг передышки Куриленко и А. выскочили из избы на огород, не забывая при этом унести и оружие убитого товарища.

Кое-как они дотащились до соседней деревни. Незнакомая Володе смертная слабость овладела его телом.

Так вот как это бывает!.. «Ничего, крепись, партизан! Чапаю было ещё труднее, когда он боролся один на один со смертью, и воды Урала тянули его вниз...»

Крови становилось меньше, он уже не мог стоять, когда добрались до деревни. Неизвестный друг запряг лошадь и положил, сколько влезет, соломы на дно телеги. Двинулись в путь медленно, чтоб не увеличивать муки раненого. Лошадь шла шагом.

— Крепись, крепись... Ещё немного, Володя, — шептал А.

Откинув голову, ослабев от потери крови, Куриленко лежал в телеге. Тысячи самых красивых, самых здоровых девушек в стране без раздумья отдали бы кровь этому герою и всю жизнь потом гордились бы этой честью. Но не было никого кругом, кроме друга, бессильного помочь ему, да ещё великого утреннего безмолвия. Затылок с непокорными юношескими вихрами, смоченными кровью, колотился о задок телеги, и голубой взор был устремлён в бесконечно доброе небо родины, едва начинавшее голубеть в рассвете.

Он слышал всё в этот час: всякий шорох утра, каждый запах, веявший с поля, треск сучка, шелест земли, разминаемой колесом, просвист птичьего крыла над самым ухом... И уже бессильный повернуть голову, он узнавал по этим бесценным мелочам облик того, что так беззаботно и страстно любил... Боль уже прошла, но это означало приближение смерти. Только лёгкая и острыя тоска по родине, покидаемой навсегда, теплилась в этом молодом и холодеющем теле. Вот оборвалась и она...

Такова последняя строка в анкете героя.

«Не долго жил, да славно умер», — говорит русская древняя пословица. Он умер за семь месяцев до своего совершеннолетия. Для того ли родина любовно растила тебя, Володя Куриленко, чтоб сразила тебя пуля германского

подлеца? Прощай! Отряд твоего имени мстит сейчас за тебя на Смоленщине.

Не плачь о нём, современник. Копи в себе святую злобу. Но вспомни Володю Куриленко, когда ты будешь идти в атаку или почувствуешь усталость, стоя долгую военную смену у станка. Это придаст тебе ярости и силы... На великой и страшной трагедии по нашим павшим братьям мы ещё вспомним, вспомним, вспомним тебя, Володя Куриленко!

1942 г.

Неизвестному американскому другу

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Мой добрый друг!

Я не знаю твоего имени. Наверно, мы не встретимся с тобой никогда. Пустыни, более непроходимые, чем во времена Цезаря и Колумба, разделяют нас. Завеса сплошного огня и стального ливня стоит сегодня на главных магистралях земли. Завтра, когда склонят эта большая ночь, нам долго придётся восстанавливать разбитые очаги цивилизации. Мы начнём стареть. Необъятные пространства, которыми мы владели в мечтах юности, будут постепенно мельчать, ограничиваться пределами родного города, потом дома и сада, где резвятся наши внуки, и, наконец, могилы.

Но мы не чужие. Капли воды в Волге, Темзе и Миссисипи сродни друг другу. Они соприкасаются в небе. Кто бы ты ни был — врач, инженер, учёный, литератор, как я,— мы вместе крутим могучее колесо прогресса. Сам Геракл не сдвинет его в одиночку. Я слышу твоё дыхание рядом с собою, я вижу умную работу твоих рук и мысли. Одни и те же звёзды смотрят на нас. В громадном океане вечности нас разделяют лишь секунды.— Мы современники.

Грозное несчастье вломилось в наши стены. Оглянись,

милый друг. Искусственно созданные пустыни лежат на месте знаменитых садов земли. Чёрная птица кружит в небе, как тысячи лет назад, и садится на лоб поверженного человека. Она клюёт глаз, читавший Данте и Шекспира. Бездомные дети бродят на этих гибких просторах и жуют лебеду, выросшую на крови их матерей. Всё гуще горелой человечиной пахнет в мире. Пожар в разгаре. Небо, в которое ты смотришь, пища, которую ты ешь, цветы, которых ты касаешься,— всё покрыто ядовитой копотью. Основательны опасенья, что человеческая культура будет погребена, как Геркуланум, под этим чёрным пеплом. Война.

Бывают даты, которых не празднуют. Вдовы надевают траур в такие дни, и листья на деревьях выглядят жестяными, как на кладбищенском венке. Прошло три года этой войны. Облика её не могли представить себе даже самые мрачные фантасты, — им материалом для воображения служила наивная потасовка 1914 года. С тех пор была изобретена тотальная война, и дело истребления поставлено на прочную материальную основу. Немыслимо перечислить чёрные достижения этих лет. Обесчещено всё, чего веками страдания и труда добился род людской. Затоптаны все заповеди земли, охранявшие моральную гигиену мира. Война ещё не кончена.

В такую пору надо говорить прямо и грубо,— это умнее и честнее перед нашими детьми. Речь идёт о главном. Плохое хозяйство мы получили из рук старшего поколения, ещё худшее мы передаём в руки потомков. Мы позволили возникнуть Гитлеру на земле... Будущий историк с суворостью следователя назовёт вслух виновников происходящих злодеяний. Ты думаешь, там будут только имена Гитлера и его помощников, замысливших порабощение мира? Петитом там будут обозначены тысячи имён его вольных и невольных пособников — красноречивых молчальников, изысканных скептиков, государственных

эгоистов и пилотов всех оттенков. Там будут приведены и некоторые географические названия — Испания и Женева, Абиссиния и Мюнхен. Там будут фонетически расшифрованы грязные имена Петэна и Лаваля, омывших руки в крови своей страны. Может быть, даже целый фильм будет приложен к этому обвинительному акту, — фильм о последовательном возвышении Гитлера: как возникал убийца, и как неторопливо точил он топор на глазах у почтенной публики, и как он взмахнул топором над Европой в первый раз, и как непонятные капли красного вещества полетели во все стороны от удара, и как мир вытер эти брызги с лица и постарался не догадаться, что это была за жидкость.

Люди, когда они идут в одну сторону, — попутчики и друзья. Когда они отдают силы, жизнь и достояние за великое дело — становятся братьями. И если громадное преступление безнаказанно совершается перед ними — они, сообщники. Протестовать против этого неминуемого приговора можно только сегодня, пока судья не сел за стол, — протестовать только делом и только сообща.

Милый друг, со школьной скамьи мы со страхом поглядывали на седую древность, где, кажется, самые чернила летописцев были разведены кровью. Наш детский разум подавляли образы хотя бы Тимура, Александра, Каракаллы... Позже детский страх смягчился почтенностью расстояния и романтическим великодушием поэтов. Наш юношеский гнев и взрослую осторожность парализовала мнимая безопасность нынешнего существования. Ужас запечатлённого факта окутывался лёгкой дымкой мифа. Ведь это было так давно, ещё до Галилея и Дарвина, до Менделеева и Эдисона. Мы даже немножко презирали их, этих провинциальных вояк, ближайших правнуков исандертальца и кроманьонца!..

Так вот, все эти бородатые мужчины с зазубренным мечом в руке, эти миропотрясатели, джихангиры — как их называли на Востоке, все они были только кустари, самоучки истребления. Что Тимур, растоптивший конницей семь тысяч детей, выставленных в открытом поле, или Александр, распявший две тысячи человек при взятии Нового Тира, или Василий Болгароктон, ослепивший в поученье побеждённым пятнадцать тысяч болгар, или Каракалла, осудивший на смерть всю Александрию. Сколько же жителей было в этой большой старинной деревне?

Мир услышал имя Гитлера. Рекорды Диоклетиана, Альбы, Чингиса биты. На смену неумелым простакам, вымазанным в крови, пришли новые варвары, с университетскими дипломами, докторанты военного разбоя, академики массовых убийств. В стране, где однажды на горькое благо человечества был изобретён порох (во Фрейбурге, верно, ещё стоит монумент чёрному Бартольду!), теперь родилась идея, которую трудно определить вполне корректными словами. Отныне им принадлежат — земля и небо, наши города и машины, наши дома и семьи, наши дети, наше будущее, наше — всё. Поработить людей, забыть всё, долой *homo sapiens'a*, да здравствует покорное человеческое существо, которое отныне будет разводить рыжий арийский пастух. Этот новый вид двуногого домашнего животного будет работать, взирая на бич хозяина, драться за его интересы — с теми, кто ещё не лёг добровольно под ярмо, монотонно жрать свой травяной корм и спать в обширном хлеву, в который должна обратиться Европа. И пусть ему нехватает времени на любовь, на познание, на мышление — эти неиссякаемые источники его радости, его горя, его божественных трагедий. В этом и будет заключаться «счастье» преобразованной нордической Европы.

Была пора — русский поэт Александр Блок в 1918-м кричал о времени —

...когда свирепый гунн
в карманах трупов станет шарить,
жечь города, и в церковь гнать табун,
и мясо белых братьев жарить,

мы принимали этот пророческий образ за поэтическую метафору. «Этого не бывает...» Нет, бывает! Мёртвые Шекспир и Дант не смогут нас защитить от живого Гитлера. И время это пришло.

Хоругви предков — какие бы величественные слова ни были начертаны на их ветхих полотнищах — не защитят тебя от пикирующего бомбардировщика. Смотри, красномордые гитлеровские апостолы, с руками по локоть в сукровице, уже взялись за переустройство Европы. И не такими уж неприступными оказались наши прославленные цитадели гуманизма. Политые лигроином, книги горят отлично, а толул неплохо действует под фундаментами наших храмов. Гитлер идёт на штурм мира. Вена и Прага, Варшава и Белград, Афины и Париж... вот уже преодолённые ступени штурмовой лестницы, по которой варвар лезет на наши стены. Он уже приблизился на расстояние руки: смотри ему в глаза, в них нет пощады. Топор с пропеллерной скоростью свистит и вьётся в его руке... Холодок этого вращенья ложится на твоё лицо: И если бы не Россия, он был бы уже на самом верху цитадели.

Прости мне эти мрачные картины не знакомой тебе действительности. Мне приятнее было бы рассказать тебе, как ещё несколько лет назад мы без устали строили у себя материальные базы человеческого благосостояния. Наши юноши и девушки не готовили себя для войны. Они

хотели прокладывать дороги, воздвигать заводы и театры, проникать в тайны мирозданья, побеждать неизлечимые болезни, изобретать механизмы и создавать ценности, из которых образуются стройные коралловые острова цивилизаций. Они стремились обогатить и расширить великое культурное наследство, подаренное нам предками. Они мечтали о золотом веке мира... Их мечта разбилась под дубиной дикаря. Военная непогода заволокла безоблачное небо нашей родины. В самое пекло войны была поставлена наша молодёжь, и даже там не утратила своей гордой и прекрасной веры в Человека.

Они-то крепко знают, что в этой схватке победят правда и добро. Орлиная русская слава парит над молодёжью моей страны. Какими великанами оказались наши, вчера ещё незаметные люди! Они возмужали за эти годы,—страдания умножают мудрость. Они постигли необъятное значение этой воистину Народной войны. Они дерутся за родину так, как никто, нигде и никогда не дрался: вспомните чёрную осень 1941 года!.. Они ненавидят врага ненавистью, которой можно плавить сталь,—ненавистью, когда уже не чувствуются ни боль, ни лишенья. Пламя гнева их растёт ежеминутно,—всё новое горючее доставляют для него эти душевно-голые гитлеровские прохвосты, ибо безмерны злодеяния этих громил. Всё меркнет перед ними,—утончённая жестокость европейского средневековья и свирепая изобретательность заплечных мастеров Азии. Нет такого мученья, какое не было бы причинено нашим людям этими не-людьми.

Может быть, тебе не видно всего этого издалёка? Чу-
жое горе всегда маленькое. Может быть, ты всё-таки ду-
маешь, что воды в Темзе и Миссисипи протекают больше
за единицу времени, чем крови и слёз в Европе? Может
быть, ты не слышал про Лидице? Может быть, тебе ка-
жутся преувеличенными газетные описания всех этих па-

лаческих ухищрений?.. Я помогу тебе поверить. Сообщи мне адрес, и я пошлю тебе фотографии расстрелянных, замученных, сожжёных. Ты увидишь ребятишек с расколотыми черепами, женщин с разорванной утробой, девственниц с вырезанной после надругательства грудью, обугленных стариков, никому не причинивших зла, спины раненых, где упражнялись на досуге резчики по человеческому мясу... Ты увидишь испепелённые деревни и разрушенные города, маленькие братские могилы, где под каждым крестиком лежат сотни, пирамиды исковерканных безумием трупов... Керченский ров, наконец, если выдержат твои очи, увидишь ты! Ты увидишь самое милое на свете, самое человеческое лицо Зои Космодемьянской после того, как она, вынутая из петли, целый месяц пролежала в своей ледяной могиле. Ты увидишь, как вешают гирляндой молодых и славных русских парней, которые дрались и за тебя, мой добрый друг,— как порют русских крестьян, не пожелавших склонить своей гордой славянской выи перед завоевателями,— как выглядит девушка, которую осквернила гитлеровская рота... Оставь у себя эти документы. Сложи их вместе с теми выцветшими за четверть века снимками героев Ютландского боя и Марнской битвы. Со храни их как наглядное пособие для твоих детей, когда станешь учить их любви к родине, вере в Человека и готовности погибнуть за них любой гибелью.

Не жалости и не сочувствия мы ждём от тебя. Только справедливости. И ещё: чтоб ты хорошо подумал над всем этим в наступившую крайнюю минуту.

После разрушения Тира Навуходоносором (573 г. до н. э.) было высечено там на камне, что «осталась только голая скала, где рыбаки сушили свои сети». Иероним горько сказал о своей родине, Паннонии, что после войны «не осталось там ничего, кроме земли да неба». Теперь эти описания пригодны для областей, стократно

больших. Гостем или туристом приезжая к нам, ты посетил, конечно, и Ясную Поляну с могилкой великого старика, и киевские соборы; ты щёлкал своим кодаком, на-верно, и Новоиерусалимский храм на Истре и прозрачные рощи петергофских фонтанов. Их больше нет. Всё, что не влезло в объёмистый карман этих фашистских тури-стов, было уничтожено на месте яростью нового Аттилы.

Мы с тобой бесконечно нерадиво берегли нашу цивили-зацию: мы не сумели даже обезопасить ее от падающих бомб. Мы слишком верили в её святость и прочность. Когда наши радио передавали лёгкую, порою — легчай-шую музыку, с германских станций на весь мир от-кровенно гремела медь грубых солдатских маршей. Бог войны примерял свои доспехи, которые мы слишком рано сочли за утиль. Сталин говорил об этом не раз,— мир не умел или не хотел слышать. Не ссытайтесь же впослед-ствии, что никто не предупредил вас о грядущих несча-стях!

Есть такие граждане мира, которые полагают, что если они местожительствуют далеко от вулкана, то до них не доползёт беда. В стремлении изолироваться от всеобщего горя они подвергают риску не только жизнь свою, но и репутацию. Самые хитроумные пройдохи юриспруденции не придумали пока оправдания джентльмену, равнодуши-но созерцающему, как топчут ребёнка или насилиуют же-щину... Условно, из вежливости, назовём это пока выжи-дательной осторожностью. Однако не сомнительная ли это мудрость,— ждать, пока утомится убийца, или притупит-ся его топор, или окончатся его жертвы? Больше того,— пока на протяжении двух с половиной тысяч километров длится жесточайший Верден, уснащённый новейшими ору-диями истребления, эти почтенные умы подсчитывают ко-личества танков, какими они будут располагать летом 45 года и осенью 56-го. Прогнозы вселяют в них животво-

рящий оптимизм, как будто врага могут устрашить или остановить подобные математические декларации. Наши эксперты не сомневаются, кстати, что к зиме 1997 года количество этих железных ящеров достигнет гомерических чисел. Армады старых железных птиц, поржавевших от безделья и не снесших ни одного яйца на вражеские арсеналы, закроют своими крыльями целые материки. Но не случится ли что-нибудь неожиданное и чрезвычайное до наступления той обманчиво-благоразумной даты?

Пьяному море по колено, а безумцу не страшен и океан. Никто не превосходил в хитрости безумца. Береги своих детей, милый друг. Послушай, как они плачут в Европе. Все дети мира плачут на одном языке. Великие беды легко перешагивают через любые проливы. Французы тоже надеялись, что их спасёт знаменитая железобетонная канава на северо-восточной границе, оборудованная всеми военными удобствами!

Я люблю тебя, мой современник. Я благодарен тебе уже за то, что не один я перед лицом врага, который и тебе не может быть другом. Я уважаю твою деятельность, искаательную мысль, твоё творческое беспокойство, твоё прошлое, полное героев и мудрецов. Мне дороги твои отличные театры, твои обсерватории, где пальцами лучей ты считаешь светила, твои университеты, где по граммам выплавляется бесценное знание человека, твои стадионы, парки, аббатства, лаборатории, самые города твои. Ты умеешь всё — делать чудовищные машины, послушные легчайшему прикосновению руки, создавать великолепные произведения искусства, которые — как цветы, что роняет, шествуя по вечности, Человек! — строить боевые корабли и тонкие механизмы, вспарывающие магическую оболочку атома. Всё это под ударом сейчас.

Скажи тем, которые думают пересидеть в своих убе-

жищах, что они не уцелеют. Война взойдёт к ним и возвы-
мёт их за горло, как и тебя. Она превратит в щебень всё,
чем ты гордился в твоих городах, развеет пеплом созда-
ния твоих искусств, в каменную муку обратит твои свя-
тыни. Едкая гарь Европы ещё не ест тебе глаза?.. Гитлер
вступит в твою страну, как в громадный универмаг, где
можно не платить и даже получать воздаяние за произ-
ведённую им работу! Если он на Смоленщине отбирал
скудный ширпотреб у русского мужика, почему бы ему
не поживиться сокровищами американских музеев? Его
первойшая мечта — победителем побывать на британских
островах, чего не удалось Наполеону. Новый Иов, ты си-
дешь посреди смрадных развалин, в гноище раскаяния, с
единой душой да с гелем!

Скажи тому, который не верит, что война ворвётся к
нему, выволочет за волосы жену его и детей его переду-
шит у него на глазах. Оглянись на Белоруссию, Югосла-
вию, Украину. Если там девушек, не достигших совер-
шеннолетия, гонят кнутом в солдатские бордели, почему
же они думают, что Гитлер пощадит их мать, сестру или
дочь? Если русских и еврейских детей он кидает в печь
или пробует на них остроту штыка и проверяет меткость
своего автомата, какая сила сможет защитить твоего ре-
бёнка от зверей? Война — безглазое и сторукое чудовище,
и каждая рука шарит свою добычу. Прежде чем они зап-
лачут слезами Иермии, посоветуй им купить «Майн
кампф»: там начертана их участь.

В этой войне, в которую рано или поздно ты вольёшь
свою гневную мошь, нужно победить любым усилием. Бе-
зумец не страшен, если во время взяться за него. Непо-
бедимых нет.

Русские солдаты под Москвой видели этих каналий в
декабре прошлого года: они бежали с нормальной для
застигнутого вора резвостью... Победу нужно начинать

немедля и с главного: убивать убийц, поднявших руку на священные права человека. Потом нужно истребить и самый микроб войны, который ещё гнездится кое-где в древних фанабериях европейских народов. С некоторого времени перерывы между войнами существуют только для того, чтобы народы поострели отточили сабли. Развитие промышленностей укорачивает всё более эти антракты между великими вселенскими мордоями. Их размеры возрастают в геометрических прогрессиях, обусловленных расширением технических возможностей. Александр Македонский, идя на завоевание мира, перевёл через Геллеспонт 35.000 воинов в трусиках и с короткими мечами. Нынешняя война начинается с вторжения десятков миллионов людей, многих тысяч боевых машин, с бомбёжек и истребления самого неприкосновенного фонда, наших матерей и малюток. Нужно заглянуть в самый корень этого основного недуга Земли. Нужно клинически проследить кровавую родословную последних войн и найти их первую праматерь, имя которой Несправедливость, и убить её в её гнездовые.

Мой добрый друг, подумай о происходящем вокруг тебя. Сыновья героев 14—18 годов ложатся на кости своих отцов, не успевшие истлеть на полях сражений. Какие гарантии у тебя, что и твой голубоглазый мальчик, скользнув с злодейского штыка, не упадёт на кости деда?..

Цивилизации гибнут, как и люди. Бездне нет предела. Падать можно бесконечно. Помни, потухают и звёзды.

Учитель мой, Горький, назвал тебя мастером культуры. Думай же, мастер культуры!

Мы, Россия, произнесли своё слово: Освобождение. Мы отдаём всё, что имеем, делу победы. Наш красноармеец, который принял на свою грудь тяжчайший удар громилы,— великий мудрец, который смотрит вперёд и видит

отдалённое будущее своих потомков. Ещё не родилось
искусство, чтобы соразмерно рассказать об отваге наших
армий. Они отдают жизнь за самое главное, чему и ты
себя считаешь другом.

Но... amicus Cognoscitur amore, more, ore, re.

Я опускаю это письмо в почтовый ящик мира.

Дойдёт ли оно?

2 августа 1942 г.

Неизвестному американскому другу

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Мой добрый друг!

Здесь заключено публичное признание моего бессилия. Я никогда не создам этого рассказа. Скорбную мою повесть надо писать на меди: бумагу прожигали бы слова об этих двух безвестных женщинах. Я не знаю ни национальности их, ни имён. Вернее, я теряюсь, какие из семи тысяч я должен выбрать, чтобы не оскорбить памяти остальных членов этого страшного братства.

Ты без труда представишь себе этих двух героинь ненаписанной повести, мой неизвестный американский друг: пятилетнюю девочку и её мать. Маленькая была, совсем как твоя дочка, которую ты ласкал ещё сегодня утром, отправляясь на работу. Её мать также очень похожа на твою милую и красивую жену, только одета беднее и у неё очень усталое лицо, потому что жить в городе, занятом немецкой армией, несколько труднее, чем под безоблачным небом Америки. Они помещались в крохотном, с бальзаминами на окнах, домике, у которого отстрелили снарядом угол в недавнем городском бою. Пчинить его было некому, так как отец, рядовой русский солдат, ушёл со своим полком, чтобы где-то, на далёком рубеже, без сна и устали бить в костиистую морду смерти, поднявшейся ныне над всем цивилизованным человечеством.

Фронт был отодвинут в глубь страны, и грохот русских пушек, этот гневный голос родины, перестал быть слышен в тихом городке. Наступила великая тоска, и в ней один предзимний, ещё бесснежный денёк. Мороз скрепил землю, и лужицы подёрнулись стрельчатым лёдком. Всем нам в детстве одинаково нравилось ступать по этому хрусткому стёклышку и вслушиваться в весёлую музыку зимы. Когда в одно бессолнечное утро девочка попросилась на улицу, мать одела её потеплее, в рваненькое и уцелевшее, и выпустила с наказом не отходить далеко от дома; сама она собиралась тем временем заделать пропонну в стене.

Ставши у ворот, маленькая боязливо улыбалась всему, что видела. Она бессознательно хотела задобрить громадную недобрую тишину, обступившую городок. Никто не замечал присмиревшего ребёнка: все были заняты своим делом. Порхали воробы, и шумел за облаками самолёт. Сменные немецкие караулы чеканно направлялись к своим постам. Изредка робкая снежинка падала из пасмурного неба, и, подставив ей ладонь, девочка следила, как та превращалась сперва в прозрачную капельку, потом — в ничто. У маленькой не было её пестрых, любовно связанных бабушкой перчаток. Ночью случился обыск, а у немецкого солдата, приходившего за трофеями, видимо, имелась девочка такого же возраста в Германии.

Шум в конце улицы привлёк внимание ребёнка. Объёмистый автобус, с фальшивыми нарисованными окнами, остановился невдалеке. Сняв рукавицы и подняв капот, шофер мирно копался в моторе. Шеренга немецких пехотинцев, как бы скучая и с примкнутыми штыками, двигалась сюда, и в центре полукольца плелись безоружные местные жители, человек сорок, с узелками, старые и малые. Некоторые застёгивались на ходу, потому что их внезапно выгнали из дома. Годных к войне между ними не было, грудных несли на руках. Это походило на невод,

который по мелкой воде тянут рыбаки. Шествие приближалось, впереди шли дети.

Всё выглядело вполне обыденно. И хотя все понемножку о чём-то догадывались, никто не плакал из страха вызвать добавочную злобу у этих равнодушных солдат. Видимо, всем этим людям предстояло ехать куда-то во имя же знаний германских интересов — и нашей маленькой — в том числе! Ей очень нравилось ездить в автомобилях, хотя только раз в жизни она испытала это наслаждение. Установился обычай в нынешней России катать детей по первомайским улицам в грузовиках, разукрашенных цветами и флагами; обычно дети пели toeneyками голосками при этом... Кстати, девочка искала глазами в кучке ребят свою старинную подружку. Маленькая ещё не знала, что её, контуженную при занятии городка, закопали прошлым вечером в вишенике, за соседским амбаром.

Скоро мёртвая петля облавы захлестнула и домик с бальзаминами, возле которого стояла моя пятилетняя героиня. Комплект был набран, и раздалась команда. Ко-зырнув, шофер обошел сзади и открыл высоко над колёсами толстую, двусторчатую дверь. Людей стали поочередно сажать внутрь фургона: слабым или неловким охотно помогали немецкие солдаты. Одна древняя русская старушка, нешибко доверяя машинам и прочим изобретениям антихриста, украдкой покрестилась при этом. Девочка удивилась не тому, что внутренность машины была обшита гладким металлом; её огорчило отсутствие окон, без которых ребёнку немыслимо удовольствие прогулки. Она ничего не поняла и потом, когда худой и ужасно длинный солдат — под руки, как русские носят самовар, понёс её к остальным, уже погруженным детям: она только улыбнулась ему на всякий случай, чтобы не уронил. В ту же минуту на крыльце выскочила, с руками по локоть в глине, её простоволосая мать.

Сна вырвала ребёнка и закричала, потому что видела накануне этот знаменитый автобус в работе. Она кричала, неистово распахнув рот, во всю силу материнской боли, и я очень удивился, если не был слышен в Америке этот несказанный вопль. Она так кричала, что ни один из патрульных даже не посмел ударить её прикладом, когда она рванулась и побежала с дочкой наугад, и запнулась, и упала, и лежала в чудовищной надежде, что её почтут за мёртвую или не заметят в суматохе. Но маленькая не знала: она силилась поднять мать за руку и всё твердила: «Мамочка, ты не бойся... я поеду с тобой, мамочка». Она повторяла это и тогда, когда её вторично понесли в цинковую коробку фургона. Но тогда вдруг заплакали и закричали все от жалости к маленькой, а громче всех — дети. Это был беспорядок, противный германскому духу, и чтоб прекратить скандал в зародыше, в автобус поднялся хорошо выбритый ефрейтор с большим фабричным тюбиком, что хранился в его походной сумке. Одновременно в его правой руке появилась узкая, на тонком стержне, кисть, вроде тех, что употребляют для гуммиарабика. Из тюбика выползла чёрная змейка пасты, несколько густой, но, видимо, более удобной в перевозке. Солидно, протискиваясь в тесноте среди детей, военный смазывал этим лекарством против крика губы затихавших ребят. Порой, для верности, он без промаха вводил свой помазок в ноздри ребёнка, этот косец смерти, и, как скошенная трава, дети клонились и опускались на ноги обезумевших взрослых. Наверно, у него имелось специальное образование, так ловко он совершал свою чёрную процедуру. Крики затихли, и солдатам уже не составило труда отнести и вдвинуть на пол камеры, в этот людской штабель, потерявшую сознание мать.

Дверь закрыли на автоматический запор; шофер поднялся на сиденье и завёл мотор, но машина не сразу отправилась на место назначения. Офицер стал закуривать,

солдаты стояли вольно. Всё опять выглядело крайне мирно: ничто не нарушало тишины, ни шумливые краснодарские воробы, ни — почему бы это? — даже треск выхлопной трубы. И хотя машина попрежнему стояла на месте, время от времени как-то странно кренился кузов, точно самый металл содрогался от роли, предназначенней ему дьяволом. Когда папироска докурилась и прекратились эти судорожные колыханья, офицер дал знак, и машина поплыла по подмёрзшим русским грязям за город. Там имелся глубокий противотанковый ров, куда германские городские власти ежедневно сваливали свою продукцию... — Теперь, после возвращения Красной Армии на временно покинутые места, эти длинные могилы раскопаны, и любители сильных ощущений могут осмотреть фотографии завоевательских успехов Гитлера.

Это краткое либретто темы, способной целые материки поднять в атаку, я дарю Голливуду, инициативный размах и коллективный гений которого я глубоко уважаю. Несомненно, он получится сильнее обычных гангстерских фильмов, этот впечатляющий кинодокумент. Жаль, что его не успели почестить в той вместительной железной коробке — посылке в века, что закопана под нью-йоркской всемирной выставкой. Любовную интригу, если понадобится, можно присочинить по ходу действия. Хорошо было бы также показать этот боевик многочисленным свободолюбивым армиям, которые терпеливо — и который уж год! — ждут приказа о генеральном наступлении против главного изверга всех веков и поколений.

Конечно, встретятся неминуемые трудности при постановке. Вашей актрисе, Америка, трудно будет воспроизвести смертный крик матери, да и вряд ли плёнка выдержит его. Режиссёру и зрителю покажутся экзотически невероятными как самый инвентарь происшествия, так и перечисленные мною вкратце детали. И хотя я вовсе не собирался писать корреспонденцию из ада, я полагаю не-

обходимым, однако, перевести на англо-саксонские наре-
чия название этого невиданного транспортного средства,
изобретённого в Германии для отправки в вечность: ду-
шегубка... Это дизельный, восьмитонный грузовик, с ка-
мерой, обложенной внутри листами надёжного металла,
который невозможно ни прокусить, ни процарапать ног-
тями. Отработанные газы мотора нагнетаются в это гер-
метически закупоренное пространство непосредственно
через трубку с защитной от засорения решёткой. Горя-
чая сгущённая окись углерода, CO, немедленно наполня-
ет кабину и быстро поглощается гемоглобином крови за-
ключённых там жертв. Отравление начинается с удушья
и головокружения; не стоит приводить остальных симп-
томов при смертельных случаях, а это приспособление со-
здано специально для смерти. Это вряд ли и потребуется
в проектируемом нами фильме. Впрочем, в классических
немецких исследованиях по токсикологии Винца, Шми-
деберга и Кункея подробно разработана симптоматика
этого дела.

Как видно, достижения германской науки пригодились
сегодня негодяям, которым Германия вверила свою на-
циональную судьбу и жизни. И когда Геббельс вопит со
своих радиостанций о немецкой культуре, он, видимо,
требует от своих будущих жертв, чтобы они до последне-
го дыхания сохраняли почтительное изумление перед
сверкающей аппаратурой палача. Рационализация чело-
веконстремления и дешевизна его доведены до басно-
словного предела. Знаменитые яды истории: демонский
напиток Борджа, или «лейстеровский насморк» елиза-
ветинского министра, или изящная, как музыка Моцар-
та, отрава маркизы Бренвилье, и сама бледная аква тоф-
фана, что продавалась в средние века в пузырьках с изо-
брожением св. Николая, — всё это дорогостоящие заба-
вы для мелкого, индивидуального пользования. Сама Ло-
куста, которую тоже с запозданием догадались казнить

только при Гальбе, чернеет от профессиональной зависти к Гитлеру, который отбросы дизельмотора включил на вооружение германской армии. Не добывать же окись углерода, например, разложением щавлевой с помощью крепкой серной, слегка подогретой кислоты!

Эта механическая колымага гибели, что путешествует по просторам оккупированных областей России, обслуживается специальным отрядом, зондеркомандой, из двухсот человек. Должность они свою исполняют не в патологическом исступлении боя, а с трезво обдуманной полнотой большого, государственного мероприятия. У них ведётся учётный журнал с точными графами, куда заносятся как дата и способ уничтожения, так и пол, национальность, возраст и количество уничтоженных за сутки жертв. Не верится, что у этих чёрных бухгалтеров смерти тоже были мамы, которые ласкали их в детстве и, пряча свои лица, достойные Гойи, просили у неба счастьяшки для своих рычащих ублюдков... Обширный штат зондеркоманды вполне окупается размерами её деятельности. И верно, при максимальной ёмкости кузова в восемьдесят живых единиц, при дозировке смертной порции в десять минут, дольше которой не выдерживает самый прочный молотобоец, плюс двадцать минут на обратный рейс, включая разгрузку, — а машина действует и на ходу! — пропускную способность одного такого автобуса можно довести до полутора тысяч покойников в сутки. Таким образом, дивизион подобных агрегатов даже при умеренной, но бесперебойной работе может в месяц опустошить цветущую площадь с двухмиллионным населением.

Представь себе этих людей хозяевами земли, мой добрый друг, и содрогнись за своих любимых!

Народ мой словом и делом проклял этот подлейший замысел дьявола. Народу моему ясно, что если бы не было пушек мира, следовало бы голыми руками расшвырять это

бронированное гнездо убийц. И я люблю мать мою, Россию, за то, что ум и сердце её не разъединены с её волей и силой; за то, что, гордая своей правотой, она идёт впереди всех народов на штурм пристанища зла. Видишь ли ты её, когда она без устали сокрушает обзвившего её ноги дракона? Святая кровь всемирного подвига катится по её лицу, и кто в мире назовёт мне лицо красивей? Вот почему сегодня родина моя становится духовной родиной **всех**, кто верит в торжество правды на земле!

К вечным звёздам люди всегда приходили через суровые испытания, но в такую бездну ещё никогда не заглядывал человек. Уже мы не замечаем ни весны, ни полдня. Реки расплавленной стали текут навстречу рекам крови. Никто не удивится, если хлеб, смолотый из завтрашнего урожая, окажется красным и горьким, как порох, на вкус. Самая сталь корчится от боли на полях России, но не русский человек. При равных условиях, в библейские времена, Иезекиили с огненным обличьем на устах рождались в народе. Во все времена появлялись они и благовестили людям, эти колокола подлинного гуманизма. Ты помнишь исполина Льва Толстого, который крикнул миру «не могу молчать», или пламенного Барбюса, с его прекрасным «J'accuse!», или Горького и Золя. Миллионноголосое эхо подхватывало их призыв, и подлая коммерция себялюбия уступала дорогу совести, и на века становился чище воздух мира... Ты помнишь и чтишь русского человека, Фёдора Достоевского, чьи книги в раззолоченных ризах стоят на твоих книжных полках! Этот человек нетерпеливо замахивался на самое Провидение, однажды заприметив слезинку обиженного ребёнка. Что же сказали бы они теперь, эти непреклонные правдоносцы, зайдя в детские лазареты, где лежат наши маленькие, тельцем своим познавшие неустройство земли, пряча кульяшки под одеялом, стыдясь за взрослых, не сумевших оберечь их от ярости громилы? Они поднялись бы

человеческой породе, в которой и горячечное пламя тысячи детских глаз не выплавило гневной набатной меди!

Каждый отец есть отец всех детей земли, и наоборот. Ты отвечаешь за ребёнка, живущего на чужом материке... Вот правда, без усвоения которой никогда не выздороветь нашей планете. Остановить в размахе быструю и решительную руку убийцы — вот неотложный долг отцов на земле. Иначе к чему наши академии и могучие заводы, седины праведников и глубокомыслие государственных мудрецов? Или мы затем храним всё это, чтоб пощекотать больное и осторожное тщеславье наше? Фашизм, эта страшная язва Европы, так же гнусно зияет среди обманчивых утех нашей цивилизации, как если бы длинный витой хвост пращура просунулся между фалдами профессорского сюртука. Можно ли смотреть на звёзды изbservаторий, пол которых затоплен кровью? Тогда признаемся в великой лжи всего, что с такой двуличной и надменной важностью человечество творило до сегодня. Может быть, и сами мы только размалёванные обрубки в сравнении с теми красивыми и совершенными людьми, что завтра осудят моих современников за допущение на землю страшнейшей из болезней.

Нет, неправда это! — Прекрасна жизнь вопреки сквернящим её злодеям. Прекрасны дети и женщины наши, сады и книги, чистой мудростью налитые до краёв. Человек ещё подымется во весь рост, и это будет содержанием поэм, более значительных, чем сказания о Давиде и Геракле. Народ мой верит в это, ценит локоть и близость друзей, — и тех, что пойдут вместе с ним наказать дикаря в его логове, и тех, кто с опасностью для жизни подносит патроны к месту боя. И никакой клевете не разъединить этих соратников, благородных в своих исторических устремлениях и спаянных кровью совместного подвига. Их породнили пламена Варшавы и Белграда, руины Сталинграда и Ковентри... Термитным составом вы-

жжены на пространствах Европы имена изобретателей тотальной войны. Когда один из них, перечислив преимуществоочных рейдов на мирные города, предупреждал народы, если бы они посмели ответить тем же оружием: «Горе тому, кто проиграет тотальную войну!» — в тот день подсудимый сам произнёс себе приговор.

И вот он начинает приводиться в исполнение. Мы проникнуты нетерпеливым ожиданием победы. Самый колос старается расти быстрее, чтобы сократить сроки ужасного кровопролития. Цвет наций одевается в хаки. Железные ящеры, урча, сползают с конвойеров: уже им не хватает стойл на родных материках. Владыки океанов неторопливо сходят со стапелей во мглу ночи. Стaiи железных птиц, более грозных, чем птицы Апокалипсиса, крылом к крылу покрывают равнинны. И когда мысленно созерцаешь сумму стали, людей и резервов у стран-свободолюбцев, глубоко веришь, что и горы не устоят перед натиском этого материализированного гнева.

Я не умею разгадать логику зреющего в недрах ваших генеральных штабов великого плана разрушения фашизма. Я простой человек, который пишет чёрным по белому для миллионов своего народа. Может быть, я не прав, но только мне всегда казалось, что совершенолетний мужчина, который в цинковой коробке травит пятилетнюю девочку, заслуживает немедленного удара не в пятку, а в грудь или, по крайней мере, в лицо. Они совсем не Ахиллесы, эти берлинские господа. Конечно, все дороги ведут в Рим, но всё же кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая...

Итак, теперь дело за вами, американские друзья! Честная дружба, которую отныне будет жить планета, создаётся сегодня — на полях совместного боя. Именно здесь познаётся величие характера и историческая поступь передовых наций.

Из затемнённой Москвы я отчётливо вижу твоё жили-

ше, и стол, за которым ты сидишь, и ча столе — твои сильные руки, которые хорошо поработали сегодня для победы. Тебе подаёт ужин милая твоя жена, и пятилетняя девчоночка на твоих коленях торопится рассказать отцу сложные дневные происшествия своей и куклиной жизни. Ночь движет стрелки на циферблате, и красивый, ярко освещенный город шумит за твоим окном... Покойной ночи, мой неизвестный американский друг! Поцелуй свою милую дочку и расскажи ей про русского солдата, который в эту самую ночь, сквозь смерть и грохот, в одиночку и по евклидовой прямой, движется на запад — за всех маленьких в мире!

15 июля 1943 г.

Слава России

Вот опять матёрый враг России пробует силу и крепость твою, русский человек. Он пристально ищет твоё сердце поверх мушки своей винтовки, или в прицельной трубке орудия, или из смотровой танковой щели. Неутолимую бессонную ненависть читаешь ты в его прищуренном глазу. Это и есть тот, убить которого повелела тебе родина. Не горячись, бей с холодком: холодная ярость метче. Закрой навеки тусклое, похабное око зверя!

Ты не один в этой огневой буре, русский человек. С вершин истории смотрят на тебя песенный наш Ермак, и мудрый Минин, и русский лев Александр Суворов, и славный, Пушкиным воспетый мастеровой Пётр Первый, и Пересвет с Ослябей, что первыми пали в Куликовском бою. В трудную минутку спроси у них, этих строгих русских людей, что по крохам собирали нашу родину, и они подскажут тебе, как поступить, даже оставшись в одиночку среди вражьего множества. С каким мужеством они служили ей!.. И куда бы ни отправлялись за далекие рубежи, кланялись в пояс родимой, и был им слаще мёду горький, полынный прах её дорог. И пригоршню родной землицы, зашитую в ладонку, уносили на чужбину, как благословенье матери, на груди. И где бы ни оказался

веленем истории русский человек, сердце его, как стрелка компаса, неуклонно бывало устремлено в одном заветном направлении, в сторону России. И чистые рубахи на девали перед смертным подвигом, идя на воинскую страшну, как на светлый праздник. Тем и была крепка, тем и стояла столетья русская земля.

Перед новым боем за честное дело наше присядем, товарищ, и поговорим по душам, за что же так ненавидит тебя убийца народов, почему мы, русские люди, будем биться, пока, стеная, не покинет земли нашей германец и не заплатит сторицей за пожжёные земли наши и за сиротские слёзы.

Взгляни на карту мира, русский человек, и порадуйся всемирной славе России. Необозрима твоя страна. Самое солнце долго, как странник, бредёт от её края до края, и люблю из рек её можно опоясать иную кичливую европейскую державку. Гляди: спелые нивы шумят и лоснятся под ветром, серебро драгоценной рыбы плещется в реках, несчитанное золото и уголь томятся в её недрах, подземные моря нефти нетерпеливо ждут, когда ты вольёшь их в свои машины, изготавлиющие материальную основу счастья. О, даже миллионной доли наших богатств не успели мы раскопать за минувшую четверть века!

Не пустовала и людьми русская земля. Помнишь, товарищ, громовой список великанов мысли и сердца, что огласил отец наш Сталин на параде в 1941 году и что, как знамя, прошумел над головами нашими. От века изобильна была героями и гениями Россия. Воистину хам и враг людей — тот, кто не обнажит благоговейно головы, засыпав эти имена.

Нет ни одной области в знании, или в искусстве, или в науке строительства социальной справедливости, куда

бы не принёс народ русский своих, литого золота, даров. А сколько ещё суждено создать нам впереди, когда, не угрожаемый ниоткуда, во весь рост подымется народ наш!.. Гордись сородичами своими и будь достоин их, товарищ.

Со времён Невского Александра зарились жадные соседи на наши угодья. Сотни лет им и во снах снилась страна твоя, русский человек,— пустыней снилась она им, без дома твоего, без тебя и твоих потомков,— голой девственной землёй снилась она им, куда они сунут железный жёлудь Нibelунгов. Не вышло с жёлудем у старого фрица, не выйдет и у нынешнего. Ой, много памятных зарубок от нашего топора осталось на загребущих волчьих лапах. А в передышках точили немцы меч, собираясь когда-нибудь прижать славян к стенке, и всегда хаяли русских, что-де без немецкого порядка живут. А мы жили так, как сердцу нашему нравилось. И захотели жить привольней и светлее — преобразовали нашу жизнь по-ленински в семнадцатом году. И в том наша державная русская воля, хозяйская. И никаким указчикам либо искателям чужого куска на земле нашей не сдесбровать.

Когда у завистника нет сил на честное соревнование, он жалит, он убивает. Зависть и свиняя жадность на чужой каравай,— вот то горючее, на котором, воняя и гремя, двинулась на нас машина германского фашизма. И правда, мы ещё только зачинаем наши песни, а они уже заканчивают. Они и детей-то наших убивают из подлого страха: боятся, что из них вырастут исполины, грозные мстители за безмерные их злодейства. Но мы, русские, прочно знаем, что мщение придёт гораздо раньше.

Предок твой, русский человек, идя в подвиг ратный, крепко понимал, что одному из двух, ему или недругу, лежать в чистом поле с дыркой в груди. И тогда, чтоб

волю на победе сосредоточить, он ни жены, ни родного дома не хотел видеть раньше, чем улягутся в братскую яму поплотней поганые вражеские кости. Много их, всяких подлецов, уже успокоил и ты, русский воин, на полях России, памятуя, что чем больше их ляжет в землю, тем сильнее острастка на века. Комплектами, вместе с командирами, лежат они на достигнутых рубежах — всякие «Райхи», «Адольфы» и «Тотенкоперы», тухлые ватаги немецких мертвецов, что закопаны под Стalingрадом и Воронежем... Что же, просторна ли им русская равнина? Сытна ли рыбка в реках русских? Жирна ли нефть во глубинах советской земли?

Орёл и Белгород, Орёл и Курск, милые места, где рождается самородный жемчуг русской речи, который так бережно, зерно к зерну, нанизывал Тургенев. Соловьям бы свистать в тамошних рощах да девушки покосные песни петь в эту пору! Чадом и скрежетом застланы дорогие нашему сердцу места. Сжав зубы, вся страна слушает, как со злым урчаньем выползают из своих нор вражеские железные гады на исконные наши земли. Но она слышит и грохот пушек наших, что дырявят германскую броню, и нет нынче музыки слаше уху русского человека... Ночь на исходе. Ещё будут длиться предрассветные сумерки, но уж не очень отдалённо то желанное утро, когда уцелевшее завоевательское отребье, все эти отравители, растлители, коноеды и другие упыри двинутся во-свояси среди нескончаемых, дымящихся улик.

А пока — оглянись, русский человек, на древние гордые кремли твоих городов, на деток наших, взирающих на тебя с надеждой, на молчаливые тени предков твоих, на каждый полевой цветок, еще не осквернённый мёртвым дыханием вражеских машин. И пусть львиный гнев родится в твоём богатырском сердце.

Бей его, проклятого зверя, вставшего над Европой и

замахнувшегося на твоё будущее, — бей, пока не перестанет шевелиться.

Подымись во весь свой рост, гордый русский человек, и пусть содрогнутся в мире все, кому ненавистна русская речь и нетленная слава России!

«Известия», 10 июля 1943 г.

Поступь гнева

Харьков взят! Ещё один шаг к победе. И когда вчера Москва громово салютовала фронту и вечерние созвездия погасли вдруг, уступив небо и место слепительному человеческому ликованию, наши люди испытали чувство, которого почти не в состоянии выдержать сердце. Это было восхищение перед братьями и мужьями, одетыми в красноармейские шинели, и удивление перед собой. Здесь находится источник благородной и гордой радости — заслуженно чувствовать себя сыном Родины, стремительно существующей к своей всемирной, никем ещё не превзойдённой славе. Значит, не зря ты стоял долгие смены у станка, рабочий, и холил свой урожай, крестьянин, и пыталиво искал на бумаге кривые своих отличных боевых машин, конструктор, и слагал песню, способную, как приказ, повести дивизию в атаку, поэт! Это они, аплодировавшие вчера небу Москвы, помогли Армии совершить подвиг, для обозначения которого нет пока слов в самой взволнованной человеческой речи.

Ибо мы знаем, кого мы бьём сегодня. Германию, которая бред подлого и низменного невежды сделала своей национальной библией! Германию мы бьём, что целый век, в стенах военных академий, взращивала математиков будущих завоеваний!.. Сама Германия, всегда втихомолку ковавшая своё оружие, чтобы однажды прыжком оказаться на хребте соседа,— государство, изготавлившее

смерть всем, кто не германец по духу и крови,— оглушённо пятится перед нами...

Наверно, он ещё горит, этот просторный и красивый город, второе сердце первой нашей братской республики. Такой огненной купели не знал он, конечно, с самых тех пор, когда крымчаки ломились будыганами в его молодые стены. Вот уже где-то вдалеке, впереди, гремит и стучит сталинская артиллерия, вгоняя очередной прочный гвоздь в гроб германского фашизма. Верно тишина теперь над Харьковом... Едкий дым ещё стелется вдоль его знаменитых улиц, да молодые матери, ставшие старухами за время немецкого полона, оплакивают своих младенцев, растоптанные мечтания и родные пепелища. И только торжественный и гулкий шаг родной Армии по исковерканным улицам пробудит их от этой горькой печали...

Вот, опалённые в боях за Сталинград и Москву, Орёл и Белгород, несметные наши полки движутся среди руин: здесь побывала Германия. Полятысячи километров прошли они с боями до этого города, и на всём их пути длилась, как сплошная улица, однообразная, искусственная пустыня.

Опытную руку гитлеровского громили различали они в каждой мелочи этого дьявольского шабаша гибели и разрушенья. Воистину злодейские дела! Старинные города, краше которых нет нам на свете, древние святыни, которые возлюбили мы из детской сказки и со школьной скамьи, могучие индустриальные сооружения, наше наследство будущим векам, и самые детки наши — всё было свалено врагом в кромешные груды, присыпанные сверху мелкой кирпичной щебёнкой... Нет, человека — который видел чрево матери, испластанное ножом убийцы, нельзя остановить уже ничем. Да, это будет пострашнее железных тигров и долгноносых немецких фердинан-

дов — мерная, величавая, молчаливая поступь Великого Гнева. Нужно было много потрудиться, чтобы заработать такую ненависть. Ты добилась этого, гитлеровская Германия!

Что же сказать, вам, освободители Харькова, солдаты и генералы великого Сталина? Дрались, как львы? Мало! Как орлы, когтили вы вражескую нечисть на поле боя? Мало!.. Вы бились, как деды ваши, прославленные герои былин и песен, которые поёте вы сами. Вы сравнялись с ними в доблести и преданности Родине. Сам Александр Васильевич Суворов хвалился бы такими храбрецами... Пусть же ещё и ещё, стыдясь за медлительность свою, дивится вам мир и на высоком вашем примере учится верности священным идеалам истинного гуманизма. И пусть умрут те, кто воровски ступил на наш порог. И пусть пожрёт их тухлый прах, их завидущие глаза, их загребущие руки земля наша, как перемолола она падаль и прежних трёхнедельных удальцов!

Люди бывалые, черпая силу и уверенность в очередной победе, не обольщаются ничем, пока со славой не закончат дела. Они-то знают: всё стоит ныне на кону, честь и жизнь. Поединок наш ещё не закончен. Волк умирает не сразу. Его надо долго бить колом по узкой его морде, и по хребтине, и меж ушей, и всяко, пока не хлынет сок смерти из вонючих его ноздрей. Но близок час того праздника, о котором в самые трудные наши дни говорил нам Stalin. Уже знакомый холодок днепровских осенних вод щекочет ноздри. Уже завалился римский патриарх фашизма,— немного ждать осталось и его берлинскому апостолу. Скоро-скоро будет этот день, когда ослабевшего от наших ударов поработителя будут бить и истреблять чем придётся на всех перекрёстках, во всех поработённых столицах Европы. И тогда, обманутая и растленная своим Адольфом, пусть восплачует Германия над своей судьбой.

Вперёд, птенцы орлиной славы нашей! Родина заплатит бессмертьем тем, кто отдаст ей жизнь на поле боя. Крушите его, железного болвана, замахнувшегося на солнце самой светлой правды. Гляди, он уже качается, уже дрожат его колени, оборжавевшие в крови народов. Наступи же ему на поганое его лицо, чтобы испытать предельную и самую сладостную радость окончательной победы!

«Правда», 24 августа 1943 г.

Размышления у Киева

Ещё гремит поле боя и сопротивляется враг, исхлестанный нашей артиллерией, издырявленный штыковым ударом, но чует народное сердце приближение победы. Она в десятке признаков и прежде всего в нашей неукротимой, всё возрастающей ярости.

Сейчас уже не сыскать на свете чудака, что сомневался бы в конечной судьбе Гитлера и его банды. Взвешено его подлое царство, исчислены его дни, в затвор введена пуля, которой доверено оборвать его поганое дыханье. Скоро пылающие головни загонщиков коснутся тощих рёбер зверя, прижатого в его логове. Тогда отчаянье охватит разбойничью берлогу, как пожар, где сгорит до тла наглая гитлеровская спесь. Преступнику судьи предъявят улики размерами в миллион квадратных километров, воины совершают справедливость.

Так будет, так хочет армия, народ. Потому что вся страна наша сегодня — военный лагерь, где нет равнодушных к исходу исполнинской схватки. Свирипый удар, нанесённый исподтишка в грудь нашей родины, пробудил в ней небывалую волю к жизни. Единством, какого не знала прежняя Россия, охвачено у нас всё живое. Жёры пушек и ненависть малюток наших — всё направлено в сердце врага. Спроси самые реки и леса наши, о чём они шумят в ночи; ветер спроси — чего жаждет он? И всё ответит эхом, от которого содрогнутся горы: слёз твоих,

гитлеровская Германия, и крови вашей, гитлеровское ворьё!

Нет у нас иной мечты сегодня. Тупой немецкий обычатель, везде стремившийся установить свои порядки и лишь скрепя сердце допускавший существование соседей,— целый век он готовился к походу на Восток. Каждому куску стали, выплавленному в его домнах, было предназначено поразить чьё-то русское сердце. Нам никогда не нравились его истошные вопли о превосходстве германской расы над другими, и нам, наконец, смертельно надоело столетнее бряцанье оружием у наших ворот. Она разъярила наши народы, эта барабанная дробь многовекового военного шантажа.

Напрасно Бисмарк наказывал внукам не соваться и в прежнюю-то русскую овчарню, а с тех пор великое переустройство произошло в России. Однако волчата пренебрегли заветами зоркого и матёрого волка. На горе себе, они величавую тишину просторов наших приняли за сонливую лень, наши мирные призывы к труду и братству — за декларацию слабости.

Что ж, история сердито проучит пошляков, не умеющих отличить спокойствие могущества от принижения рабости, и русский солдат охотно поможет ей в этом.

Нет, не Германия будет превыше всего на свете и никакая иная держава, а единая владычица мира — правда, высокая и суровая, разящая наповал, начертанная на знамёнах наших армий. Не бывать на свете нациям господ, потому что нет и наций-служанок, и никому не дано взвешивать исторические судьбы народов на неправедных весах военной удачи. Не обширностью воровских налётов на мирные города, не количеством расстрелянных детей, не замысловатостью содеянных преступлений измеряется величие народа, а человечностью его духовных взносов в сокровищницу мировой культуры и прежде всего действенной решимостью защищать её до последней кровин-

ки и — своими собственными руками. Вот почему слово русский звучит сегодня как освободитель на всех языках мира.

Замышляя своё беспримерное злодеяние, гитлеровская Германия не задумывалась, хватит ли слёз у неё смыть пролитую кровь. Пусть попробует на деле, это надёжно излечивает от безумия. В самом деле — готовить ярмо смельчакам, совершившим прыжок через смертельную пропасть,— России, только что вырвавшейся из рабства на простор вольного существованья!..

Кто ты, Гитлер, чтобы размахивать над нами бичом господина? Это вас, современники мои, он собирался тащить в петле порабощенья на плаху бесславной гражданской смерти,— вас, орлы Сталинграда и Киева, родные братья светоносных Зои и Александра Матросова,— вас, конструкторы небывалых машин, строители Днепрогэса и Магнитогорска, осушители болот, озеленители пустынь размером в пол-Европы, суровое племя мечтателей и воинов, творцы, в жилах которых льётся пламя Ленина и Толстого, Горького и Сталина!

Воистину, только в иссущенном мозгу политического ублюдка, изучившего в жизни пару жалких книжонок — наставление по окраске квартир да руководство к разведению племенных свиней, откуда и пошла идея о расе господ,— мог зародиться этот низменный бред. И напрасно ты, Гитлер, кричишь со своих радиостанций о древней германской культуре, видимо, требуя от своих жертв, чтобы до последнего вздоха сохраняли благоговейное почтение перед блистательной аппаратурой палача.

Ты достаточно потрудился, австрийский маляр и мастер мокрого дела, удобряя немецкой кровью поля России и Европы; и ты добился, наконец, что слово германец приобрело значение угнетателя на всех наречиях земли. Пора уходить, полно тебе торчать на сцене, презренный, освистанный балаганщик! Миллиард честнейших

людей нетерпеливо ждёт, когда ты уляжешься, наконец, в яму с хлорной известью, Гитлер.

Пусть улыбнутся вдовы, перестанут плакать ребятки, распустятся заедино все цветы на планете. Трауром отмечтит Германия день твоего восшествия на канцлерское кресло; мир сделает праздничной дату твоей гибели. Гляди, уже бегут с Украины твои гаулайтеры и человекоеды, домушники и маровихеры, зажав подмышкой фомки, этот инструмент нынешней пруссацкой славы. Тесься, грабь, нагуливайся напоследок, тевтонская душа. Закладывай замедленные с химическим взрывателем бомбы в фундаменты детских домов, хватай подвернувшееся барабашко для своих белокурых берлинских марух, своему щенку чулочки с девчоночки, зазевавшейся на улице, отбирай у нищей старухи её последнее достоянье, курочку-рябу,—из её яичек ещё выведутся тебе красные петушки!

Торопись, близится жаркий день расплаты; придётся платить за все садистические угрожненья и долгий кровавый дебош. Трясись, гитлеровская орава! Придётся иному повисеть, иному побыть падалью, иному слезливо взглянуть в глаза нашему русскому парню, размахнувшемуся смертной плюхой.

Скучно нынче в Берлине, но ещё скучнее в столицах помельче, что лежат на столбовой дороге наступающей Красной Армии. Хозяева этих державок, у которых ума и совести на грош, а фанаберии на весь полтинник, также рассчитывали на поживу при делёжке неумерщвлённого медведя. Понятно, на пирушке у атамана хищников всегда что-нибудь достаётся и шакалам и вороню.

С молчаливой усмешкой народы моей страны слышали их чудовищные и оскорбительные притязанья, вдохновлённые историческим невежеством и умеряемые лишь скудостью географических познаний. В год коварного вторженья в исконные земли наши соседние к нам евро-

пейские захолустья враз объявили себя великими. Если Финляндия — так уж до Урала, Румыния — так уж по Владикавказ!

Нам не помнится в точности, на какие именно океаны зарился адмирал несуществующего флота из Будапешта. То была убогая заносчивость блохи, что, затаясь на шерстистом хребте главного волка, возомнила себя наименьшим зверем, индрик-зверем, страшилищем всего живого на свете. Они забыли, что в войне с Россией основная стратегическая задача всегда делилась на две части — как найти проход в её необъятных границах, и ещё, самое существенное, — как в наиболее целом виде и, хотя бы с головой подмышкой, удалиться из неё во-свояси. Первая половина Гитлеру как будто удалась, вторая, в отношении головы, этому тулому не удастся. Мы, русские, своими победами не обольщаемся и так полагаем, что и Сталинград и Орёл — только присказки, а самая сказка будет потом, ибо русские привыкли непрошенных гостей провожать обратно до самого их дома.

Мы знаем, чем грозило нам пораженье; народ мой хочет изготовить эту победу с наибольшим запасом прочности. Такого лютого столетнего врага хорошо видеть либо мёртвым, либо на коленях. И вот стремительное наступление наше превращается в соревнование танкистов и лётчиков, артиллеристов и пехоты. С закусенными губами они рвутся вперёд, не чуя боли в ранах, ломая сталь обороны, ибо есть кое-что на свете покрепче пресловутой германской стали. Новые, вчера ещё безвестные имена героев миллионами уст любовно повторяет родина, новые орлята крепнут на подвигах и расправляют молодые крылья. А уже Днепр! И далеко позади — Полтава, но никто ещё не знает, который из городов наших станет последней Полтавой германской армии. Так кто же из вас, богатыри Сталина, первым окончательно перебьёт уже надломленную хребтину зверю?..

Итак, ты снова наш, Киев, и быть тебе нашим, доколе катится Днепр и радуются добрые люди его седой красе. Ты, как часовой, века стоял на рубежах наших земель, вглядываясь в смутные горизонты Востока, кишащие крымчаками да половцами, тугорканами да боняками,— и Запада, откуда извечно, не мигая, глазели на твою красу завистливые очи другого Идолища Поганого; там где-то, на древних славянских рубежах, лежал в дозоре малый твой сынок, город Киевец на Дунае...

Священное и нерушимое братство народов — русского и украинского начертано в книгах твоих исторических судеб, милый Киев; нет ближе родства у нас, чем это крестовое братство. От тебя, плодовитый старый диду, пошли русские города, по слову летописца. Ты, как семена, разбросал их по Руси, но первым поднял твою славу русский новгородский хозяин Владимир... Слишком пять веков звенит на твоих холмах цветастая украинская речь, как звенит она и нынче, но по-русски перекликались грозные ватажки былинных удальцов, погуливая по твоим раздольям, а среди них — Микула да Вольга, Колыван да Дунай Ивановичи. Где-то здесь, на дремучей возвышенности, возлежал ужасный исполин Святогор и стоял перед ним оберегатель русской земли Илья Муромец, готовясь на новые, сверхгеракловы подвиги. Ты есть родина знаменитых сказов о нечеловеческих мужестве и молодечестве славянских, Киев; ты есть живая летопись прошлых деяний наших.

Деды да бабки наши — и мы, внуки, с ними! — с непокрытой головой, пешком, босые, с коркой хлеба в крестьянской суме, изовсюду — из Сибири да от студёных северных морей, хаживали на поклоненье твоим историческим святыням. Каждый камень твой дорог сердцу нашему, как замшелый кирпич московского Кремля. Много тянулось к тебе жадных рук, много их потлево, отрубленных, под ковылями твоих привольных степей.

И вот снова, прострелянный, порубанный гориши ты,
как свеча, знаменуя пору скорби и величайшее наше
испытанье. Ветер несёт до Москвы твой священный и
горький пепел; он ест глаза, и слёзы выступают у пат-
риотов.

Но не горюй, добрый диду! Оглянись на бесчисленные
молодые рати, гневно проходящие среди твоих пепелищ.
Скоро-скоро они залечат твои раны, снова окружат тебя
хороводами весёлых садов, и прежняя, воскрешённая
слава зелёного изумруда Советской Украины вернётся
к тебе.

Ты ещё увилиши, как пр правнуки старого казака
Ильи Муромца одолят и повалят наземь фашистское чу-
гунное Идолище Поганое. И когда рухнет оно на колени,
рассыпаясь на куски, пусть баяны наши прибавят к киев-
скому циклу былин новые, про советских богатырей, что
прорубали дорогу нашей славе на запад, головой касаясь
серого предзимнего неба...

«Правда», 8 ноября 1943 г.

Ярость

Пусть скорбь о безвинно убитых женщинах и детях наших будет потом, когда совершится мщение. А пока лишь сжимаются кулаки, и уже недостаточным оказывается бедный инструмент человеческой речи. Советские пушки и автоматы послнее и убедительнее выразят наши немое презрение и ярость, что рождаются при чтении обвинительного акта. Прочти его, советский солдат, перед тем, как итти в атаку,— сквозь знойную декабрьскую поэзмку, сквозь крепкий морозец нашей зимы,— и самые прославленные узлы германской обороны не покажутся тебе неприступными.

В любой стране, в любой войне эту двуногую тварь — садистов в военных муниципах, худшую разновидность убийц — пристреливают у помоек, как собак.

Нынешний процесс в Харькове — это процесс, где раскрывается самая суть фашизма, этому процессу будет отведена особая страница в истории Отечественной войны. И нужно для справедливости и для будущего здоровья мира, чтобы каждая деталь этих кромешных подвигов нынешних ниделунгов получила всемирную огласку. И вот, прежде чем сказать последнее и веское слово приговора, мы выслушиваем их показанья в напряжённой тишине, записываем на бумагу их речи, стараясь клинически понять животную логику зверя, заступом разрубавшего голову младенца. Нынче советский гуманизм

судит уродов фашистской Германии во всей их «норднической» пакости.

За последний месяц я обошёл много мест на Руси и на Украине и вдоволь насмотрелся на твои дела, Германия. Я видел города-пустыни, вроде каменного мертвеца Харахото, где ни собаки, ни воробья, — я видел стёртый с земли Гомель, разбитый Чернигов, несуществующий Юхнов. Я побывал в несчастном Киеве и видел страшный овраг, где раскидан полусожжённый прах ста тысяч наших людей. Этот Бабий Яр выглядит как адская река пепла, несущая в себе несгоревшие детские туфельки вперемежку с человеческими останками.

Напрасно при приближении Красной Армии завоеватели пытались уничтожить следы этих гекатомб; беспрерывно действовали специальные, ёмкостью на двести трупов, печи, снабжённые ситами для удаления несгоревших костей и, по заявлению киевлян, для отсева золотых коронок из праха злосчастных жертв. Уже не было сил, даже с помощью дарового труда военнопленных, зарывать эти неохватные братские могилы, их просто засыпали, как попало, взрывами тола. Убийца торопился, истекал потом изнеможения и страха, трусил от мысли, что мститель придёт и увидит.

А совершив свое чёрное дело, там, внизу, они поднимались к павильону Пролетарского сада и чертили на его алебастровых стенах имена своих самок. И какой-то нибелунг, недоучка из художественной школы, вроде своего фюрера, видимо, стоя на спине соратника, нарисовал углём похабную картину в натуральную величину человеческого тела. Смотри и удивляйся, мир! Вот он, апофеоз новой германской культуры, под маской которой кроется скверная обезьяня харя... Бей, товарищ, по ней железным кулаком своих танков, линкоров, самоходных пушек, пока не превратится в месиво и что-нибудь человеческое не проглянет из этих набухших кровью глаз, — бей досы-

та, если не хочешь, чтобы когда-нибудь эта харя вторично прильнула к окошку твоей детской!

Нынешний процесс надолго запомнится жителям Харькова. В этот тесный зал всё равно не втащишь целиком все грозные улики совершенных злодеяний: и рвы из Дергачей, и ямы из-под ХТЗ, прах тридцати тысяч истерзанных, забитых палками, заморенных голodom, удушенных окисью углерода, зарытых живьём, расстрелянных в затылок, в ухо, куда придётся и наугад, заколотых, убитых голodom, морозом, специальным мором, всяко, ибо ничего нельзя придумать нового в деле умерщвления, чего уже не было бы применено на практике этими дьяволами из расы господ. На сотни километров вокруг раскиданы эти улики, не веришь собственному оку, когда смотришь на это. Сама земля, когда она сотрясается, не смогла бы сделать ничего подобного. Будто кто-то ходил,— дьявол, что ли?— и в припадке умопоступления, без разбора крушил железной воротяжкой по сёлам, по железнодорожным станциям, по городам нашим. Оно лежит бесконечно, куда ни обернись, каменное крошево, облизанное чёрным языком огня. Мокрый снежок проносится над ним и садится на горький, дылдистый бурьян, уже проросший среди обезжизненного камня.

А ведь вокруг каждой горстки этого горемычного праха когда-то цвела жизнь, теплились очаги, и хатки весёлыми огнями смотрели в ночь. И молодые гостеприимные хозяйки хлопотали вокруг полного стола, и милые, безвинные наши! ребятки глазели на тебя из окон и махали руками тебе, солдат, когда ты с песней, мерным шагом и в строю, проходил по улицам родного города. Всё стихло нынче в этих краях, и ни лая теперь на Украине собачего, ни смеха детского, ни девичьей песни. Тиха и страшна стала нынче украинская ночь.

Так кто же убил вас в самом цвету — города, яблони, дети, радость и песни наши? Вот они сидят на скамье

подсудимых — трое, а о четвёртом речь будет потом. Всё это только рядовые образцы фашистских будничных героев, каждый из них убивал, как мог, в меру разумения и представившейся возможности: Риц, Рецлав, Лангхельд. И хотя перу моему гнусно чертить даже беглые портреты этих мерзавцев, стоит набросать вкратце и для памяти основное в их внешнем облике. Пусть каждый, даже с далёкого Алтая, посмотрит в лицо убийц, которые крались к его дому.

Слева сидит Ганс Риц — лейтенант, ему двадцать четыре года, но он успел вдосталь потрудиться во славу своего фюрера. Видимо, ему пошло на пользу в этом предприятии его высшее образование. Это — гном, ещё молоденький, но уже с лысинкой, со впалой грудью и кругленьким, птичьим, инфантильно сладким лицом, видимо — любитель малинки. Такие обожают с напряжёнными ляжками сниматься возле повешенных партизан и посыпать эти фотографии на родину своим бесстыдным мамам и белокурым невестам для окончательного покорения их сентиментальных сердец. Крест 2-го класса он получил ещё на родине, видимо авансом, в воздаяние за будущие успехи в России.

Рядом с Гансом Рицем — Рейнгард Рецлав, ефрейтор. У него невыразительная башка, схожая с набалдашником от трости. Этот мужчина награждён медалью за зиму 1941—1942 года. Его сообщения о прохождении службы вызывают смех в зале заседания, это — чемпион воинского бегства вспять, несмотря на свой тридцатишестилетний возраст. Это — службист и работяга в своём застенке.

Последний у края, на виду у всего зала,— Лангхельд, капитан гитлеровской контрразведки. Его безресничные глаза горюю смотрят чуть врозь; у него тупой, плоско срезанный лоб, его губы сплюснуты намертво. От этого не жди пощады. И правда, такому Гитлер мог вполне доверить истребление целого народа. Таким в особенности

приятен бывает плач ребёнка, вопль женщины: в этих удовольствиях он явно смыслит больше прочих. Он имеет медаль и крест потому, что, по его словам, «всегда соответствовал требованиям своего командования». Немецкий перевод обвинительного акта он слушает с особым вниманием, видимо, опасаясь, чтобы на него не наговорили лишнего, как будто это ещё возможно. И всё косится в зал, профессионально прикидывая на глаз, на сколько душегубок пришло сюда зрителей.

Люди эти сидят рядом со своим партнёром по злодействам, изменником родины и исполнителем гестаповских казней, Булановым. Этот парень, в чёрном пиджаке и с мордой каторжника, особо удачно расправлялся с детьми — шестьдесят жертв лежат на его чугунной согести. В тёмных, без всякого выражения и много повидавших его глазах, под тяжёлыми палацескими бровями не отразилось ничего; он сидит, втянув голову в плечи, точно заблаговременно защищаясь от петли. Такой и матушки родимой не пощадит, лишь бы заплатили. Этот — подлинная чёрная изнанка трёх предыдущих в голубых немецких мундирах.

Все эти люди разнятся друг от друга не больше, чем пальцы на руке, на подлой руке, которой Гитлер давил горло Украины. Их пока немного здесь, да и те — мелкие «фюреры» с разными ограничительными приставками. Но будет день, когда и разбойники покрупнее воссядут на той же скамье. Не минует эта судьба и самого главного фюрера. В триста миллионов рук мы дотянемся до тебя, Адольф Гитлер!

Харьков.

«Известия», 17 декабря 1943 г.

Примечание к параграфу

Детей в возрасте от шести до двенадцати лет гонят конвейером к глубокому песчаному карьеру. Никто, ни мать, ни бабушка, не сопровождают их: они одни здесь, под синим равнодушным небом. Там на краю карьера трудится долговязый детина в эсэсовской пилотке. Он строит лестницу, по которой ещё выше поднимается Германия к своему мировому господству. Каждый ребёнок — ступенька. Их пройдено миллион, миллиард их лежит впереди. Надо рационально расходовать немецкую силу, чтобы её хватило на всех... Сей молодец здорово приировался к своей работе, он действует одновременно всем телом, как добрый аугсбургский станок, где ни одно движение не пропадает даром, — даже взгляд, как удар молотом, на мгновенье цепенящий ребёнка. Пачка выстрелов, удар коленом в плечико, и, запрокинув голову, ребята сами валятся, как дрова, в детскую братскую яму.

У этого труженика ещё остаётся время перезарядить магазин автомата, пока подходит на разгрузку следующий фургон с детьми. Работа не трудная и безопасная: дети безоружны. Фюрер повесит ему за это на шею медаль на муаровой ленте. «Дяденька, не надо меня, не надо, — кричит девчоночка на высокой ноте. — Я боюсь, дяденька». Впрочем, все они кричат так, уже такое их дело, и он продолжает кропить их смертной, свинцовой росой.

Тебе не кажется, читатель, что детской кровью отпечатаны эти строки о процессе? И если только ты делаешь не руки, не пушку, не снаряд, тогда отложи в сторону свою работу и, вооружась мужеством, не жмурясь, взгляни в лицо вот этой девчоночки, которую только что сбросили в карьер смерти. И повтори про себя её слова: — дяденька, я боюсь...

И если не увлажняются твои глаза, не сожмётся кулак от боли, повтори дважды этот предсмертный вопль безвинной девочки. И ты увидишь как наяву её распахнутые ужасом глаза, её худенькую пробитую пулей шейку. И ты увидишь, что у неё лицо твоей милой дочки. И ты поймёшь, что ещё много надо не спать ночей, стрелять, жертвовать кровью и потом. И если ничего не окажется у тебя под руками, ты вырвешь сердце из себя, чтобы кинуть его в мерзавца с автоматом. Ибо можно убить и сердцем, когда оно окаменеет от ненависти.

Всё здесь рассказанное — не беллетристическая вольность, всё это — правда. Она случилась в августе 1942 года в станице Нижне-Чирская: именно так происходила там «разгрузка» детской больницы, и по этому образцу хотели завоеватели произвести разгрузку мира от всех не немецких детей. Всего там было 900 ребят. Их отвёз к месту казни шофёр, предатель своего народа, Михаил Буланов, пока ещё — живая падаль. Он сделал много рейсов в тот день, ему приходилось самому подтаскивать и ставить детей под дуло эсэсовца. Вот он суеверно поглядывает на свои руки, может быть, припоминая, как были они тогда исцарапаны детскими ноготками, потому что вообще они шли неохотно, — так выразился сегодня в заседании суда офицер германской армии Лангхельд. Он, наверное, очень утомился в тот жаркий денёк, Буланов. Но детский крик: «дяденька, я боюсь», он запомнил. Значит, это громче автоматной пальбы — это раздирает уши ему и теперь, когда он платком утирает орошённые слёзы

зой глаза. Значит, это заглушить нечем; оно будет преследовать его до минуты, пока не захлестнётся на его шее спасительная петля. Но какой, ни с чем несравнимой силы должен быть факт, чтобы истогнуть слезу у палача!

Представляется чудовищным, что обо всём этом подсудимые говорят спокойно, без волнения, серым, обыденным голосом, — кажется, пролитое пиво сгорчило бы их в большей степени. Вот, к примеру, допрос Лангхельда. Это пятидесятидвухлетнее насекомое выглядит довольно моложаво. У него имеются внуки в Германии, и, видимо, он ещё надеется в старости, у тихого домашнего кашелька рассказать им кое-что из своих боевых приключений в России. Он откашливается, чтобы свежее звучал голос, когда тоном учёного, сообщающего на корпоративном заседании о научной новинке, он повествует о «душегубке» — «газенвагене», его пропускной способности, его устройстве, о занимательности расстрела пленных из мелкокалиберных винтовок, — так как одной жертвы при этом хватало им надолго. — и о прочем. Кстати, это было изобретение одного штурмбаннфюрера, некоего доктора Ханебиттера, видимо, также изрядного стрелка по живым мишням.

Вообще бросается в глаза, что в роли организаторов массового истребления мирного населения очень часто подвизаются немцы с медицинским образованием: медфельдшера, доктора. Видимо, палачами в Германии называются преимущественно граждане с врачебными дипломами. Такие действуют точнее, больней и искусней. На скамье подсудимых оный Ханебиттер пока не сидит, а жаль, было бы любопытно взглянуть на него в висячем положении. Лангхельд упоминает имя Ханебиттера спокойно, без оттенка порицания. Впрочем, эту скотину не волнует ничто. У него даже нехватает догадки сообразить, что матери и вдовы расстрелянных и забитых его палкою людей сидят в том же самом зале.

Вот партнёр Лангхельда по расправам и, надеемся, по предстоящей участи — Риц, заместитель командира карательной роты. Юрист, он изучал римское право в паршивом городке у себя, пока фюрер не призвал его к «великим делам». Вдовы и сироты Таганрога, как и других городов, должны хорошо знать этого служаку германской юстиции с физиономией би-ба-бо. О своих достижениях Риц повествует тоном нашалившего мальчугана, рассчитывающего, впрочем, что и на этот раз ему сойдёт с рук! Вместе с тем же доктором смерти Ханебиттером, которого, будем верить, Красная Армия ещё изловит где-нибудь в украинских степях, он ездил, — из любознательности, по его словам, — под Харьков, где производился расстрел 3.000 человек — русских, украинцев, евреев. Дело происходило 2 июня прошлого года на красивой лужайке у ХТЗ, вид которой был несколько испорчен уже вырытыми могилами. Работавшие тогда три грузовика успели доставить на место около 300 человек. Солдаты разделили их на небольшие группы и, докурив скверные немецкие папиросы, принялись за работу:

— Ну-ка, вы... — сказал, протягивая Рицу автомат, всё тот же Ханебиттер. — Ну-ка, покажите, на что вы способны, молодой человек.

И мальчуган Риц взял автомат и выпустил несколько очередей в ожидающих своей участи харьковчан... Риц морщится: они были такие растерзанные, полуголые, с обезумевшими глазами. Это несколько омрачило удовольствие приключения. Впрочем, он сделал это, якобы, только потому, что в противном случае Ханебиттер, старший в чине, мог дурно подумать о нём. И тогда оказалось, что это — совсем быстро и легко. Только пришлось задержаться на одной женщине, которая пыталась собственным телом заслонить свою девочку. Но машинка действовала исправно, времени было много, день стоял отличный, всё кончилось хорошо.

У этого тихого немецкого кнабе был приятель Якобе, тоже сукин сын. Однажды Риц посочувствовал ему в смысле обширности замыслов его палаческой деятельности и недостаточности средств — дескать, Россия так велика, чорт возьми, и так много в ней живёт людей. «О, ничего, у нас есть специальные машины», — похвастал Якобе. (В эту минуту, в который уже раз на протяжении процесса, опять знаменитая «душегубка», урча и воняя окисью углерода, как бы въехала в зал судебного заседания). Риц заинтересовался. И тогда Якобе свёз его на другую площадку харьковского ада. Этот гид показал Рицу разгрузку машины, привезшей трупы отравленных. Кстати они обошли и другие ямы. «А вот пассажиры вчерашней поездки», — сострил Якобе, подводя друга к плохо засыпанной яме, где уж никто не шевелился.

Риц произносит это просто, ибо всё это только деталь, маленькое примечание к одному параграфу в разработанном германском плане завоевания мира. Зал безмолствует, и слышно только, как потрескивают юпитеры кинохроники.

— И что ж, пригодились вам при этом нормы римского права? — спрашивает военный прокурор.

— Нет, нам было приказано руководствоваться германо-арийским чувством.

Тут же он сообщает, что недавно разочаровался в тезисах национал-социалистской партии, и вопросительно поглядывает то на судей, то в зал, точно ждёт, что ему дадут за это шоколадку.

... Там, на самом дне нижне-чирской ямы, под скорченными детскими телами, лежит великая истина, которую обязан извлечь оттуда и понять мир.. Так жить больше нельзя, нельзя есть и спать спокойно, пока безымянная девчоночка, к которой никто не пришёл на помощь, кричит у песчаного карьера: «Дяденька, я боюсь». Если бы не тысячи, а только сто, даже десять, даже три таких убий-

ства свершились на глазах у мира, и промолчал бы мир эту оплеуху подлецов, он не имел бы права на самое своё дыхание. Тогда дозволено всё, и нет правды, а есть только злой первобытный ящер, ставший на дыбы и кощунственно присвоивший себе звание человека... Но нет! Есть правда, и есть кому защищать её, и есть железо, чтобы отомстить за неё. Не муаровая лента фашистской медали сомнётся у тебя на шее, убийца, а нечто другое, прочное, пеньковое и более приличное подлецу. Слушай нас, маленькая, из братской ямы в Нижне-Чирской станице. Мир поднялся на твоё отмщение. О, Германия ещё слезами отмоет мир, забрызганный кровью из твоей простреленной шейки!

Харьков.

«Известия», 18 декабря 1943 г.

Расправа

Когда окончился допрос подсудимых и они без краски стыда признались в содеянном и стало ясно, какая гнусная разновидность двуногих представлена на этом процессе вниманию Военного Трибунала, нашей страны и всего цивилизованного мира, в зал вступили воспоминания. Вереницей потянулись родственники погибших и свидетели, на глазах у которых осуществлялся гитлеровский план подготовки великого восточного пространства для германской колонизации,— выселение законных жильцов из их вековечных владений в никуда, в небытие. Одно черней другого, слово ложится на слово... Вот, горит госпиталь с военнопленными, горят хатки вместе с их обитателями, и бараки, доверху набитые трупами, горят. И, хотя полно света в этом зале, вдруг как бы сумерки наступают, точно чёрный смрадный снег, пепел громадных сожжений опускается сюда, в потрясённую тишину.

Ага, Лангхельд покрываются багровыми пятнами, точно скручиваемый бешенством; смятённо жуёт губы паймальчик немецкой фрау Риц, он же председатель «суда чести» гитлеровской молодёжи; угрюмо, точно жертвы берут его за глотку, поглаживает шею Буланов. И только Рецлав, эта портативная дубина из руки Гитлера, всё нацеливается бесчувственным взглядом в кумачёвую скатерть судейского возвышения.

Никто из свидетелей не плачет. Месяцы прошли, но всё ещё слишком свежи впечатления ужаса и горя. Слёзы

будут после. Это потом, вернувшись в свидетельскую комнату, истерически зарыдает колхозница Осмачко, цеплый час пролежавшая в братской яме рядом с трупом своего Володи. Ничего не замечая перед собой, медсестра Сокольская еле слышно докладывает суду, как волокли раненых на расстрел, как бились о порог их головы, как приколачивали одного гвоздицами на воротах и хохотали, и вопили при этом «гут»... Снимем шапки, товарищи, помолчим минутку в честь того безвестного соплеменника нашего, которого, не сумев убить в честном бою, воровски добивали немцы на глазах у этой безоружной женщины.

Свидетель Сериков, сам дивясь виденному, в простоте сердца рассказывает среди прочего, как шла своей дорогой одна наша старушка, верно, чья-то добрая и ласковая мать, и попался ей навстречу обыкновенный немецкий солдат с ружьём, и как он схватил старую за рукав и, подтащив к земляной щели, бессмысленно пристрелил её во утоление какой-то неизъяснимой тевтонской потребности. Женщина Подкопай из чёрного кошеля своих воспоминаний достаёт одно — про полуутравленного в «душегубке» старика, который уже не о пощаде молил своих мучителей, а только о том, чтобы добили его до смерти из внимания к его глубокой старости. Хозяйственник, хирург, уборщица проходят перед судейским столом, и кажется, самая бумага блокнота, на котором набросаны мои беглые заметки, начинает пахнуть трупной гарью, горшней, чем адская полынь.

Вот только что вернулся от судейского стола на свою скамью свидетель Беспалов. Речь его не изобиловала художественно выполненными подробностями. Хороший слесарь-лекальщик, он и не гонится за литературными достоинствами своих показаний. Ему есть о чём рассказать своим современникам во всём мире. Его посёлок расположен всего в ста метрах от большого поля, амфите-

атром раскинутого перед окнами домика, где он проживал с семьёй, периодически скрываясь в леса от угона в неметчину. Этот солидный и рассудительный человек в течение четырёх месяцев сряду был вынужденным свидетелем некоторых чрезвычайных происшествий. Словом, пока шуршат мёртвые листы судебно-медицинской экспертизы и протоколов эксгумации, где научно излагается содержание длинных, плохо присыпанных землицей ям, я ухожу с Беспаловым в уголок, чтобы рассказал мне подробней и ещё разок про то, как происходило нечто, чему в уголовных кодексах мира нет пока подходящего наименования. И он сидит передо мной, живой, я трогаю его колено, дым его папироски идёт мне в лицо.

Итак, место действия находится в двух километрах от Харькова, называется по-московски — Сокольниками и представляет собою округлую и обрамлённую леском луговину, пересечённую детской железной дорогой. Все помнят эти дороги — наглядные пособия, которыми мы баловали перед войной своих детей. Однажды, 27 января 1942 года, на этот плоский, конечно, самый обширный в мире эшафот, где обычно немцы методически и ежедневно расстреливали по 10 — 15 человек, грохоча стали прибывать грузовые машины. На каждой шоферской кабинке сидело по солдату с немецкой овчаркой, в кузовах же машин находилось, на круг, примерно по тридцать человек не немецкого происхождения: старики с узелками, девчата, матери и их дети, и пленные — наши граждане и братья с Украины и России. Три машины возвращались сюда восемь раз. После выгрузки людей рассаживали группами и прямо на снегу. Никто не плакал, хотя все со смутным ужасом догадывались о назначении готовой жёлтой ямы посреди поля.

Стоял морозный, с ветерком в сторону посёлка полдень. Снежный покров достигал полутора метров, а мо-

розец градусов 25. Если бы не ветерок да не крики чёрных птиц из вороньей разведки над лесом, было бы совсем тихо в тот час. Гестаповские часовые гнушили какие-то песенки про бутылку шнапса и деву рая.

Очень громкая и лаистая последовала команда — всем раздеваться донаага, людей поторапливали. Так нужно было, должно быть, для того, чтобы скорей слипалась воедино в плотное месиво, гнила и тлела и превращалась в ничто эта живая пока, человеческая плоть. Мужчинам немцы помогали ударами прикладов. Быстро образовалась горка женских платков, детских калошек, полушибков, свёртков с едой, белья, рейтуз шерстяных; где-то пискнул ребёнок: «мама, мне холодно», и опять закричали мужчины, но снова взметнулись над головами приклады, и погас крик.

Были там женщины, которые не желали раздеваться на глазах у всех донааг... и вот Беспалов увидел, как один нигелунг ножом, занеся снизу и движением вверх, распорол на девушке шубку и платье до плеча. А ведь и дерево жалеют поранить, когда рубят. Кривой красный шов прочертил тело, и потом, развалив одежду, гестаповец сам содрал с девушки бюстгалтер левой, свободной рукой.

Всё ещё веря во что-то — в спасение, в бога! — по колено в снегу, эти обречённые люди, голые жались друг к дружке в ожидании своей очереди. А уже где-то в противоположном углу поля началась расправа. Деревянно на морозе застучали автоматы, и первый залп дан был по ногам, чтобы предотвратить возможность бегства, хотя дорога и без того была оцеплена войсками и полицейской сволочью. Это называлось у немцев «фускапут», смерть ногам! Передняя шеренга жертв осела на пятнистый красный снег, и вдруг как бы костёр человеческого отчаяния забушевал на этом ослепительном снегу. Оно обжигало и расплавляло мозг, невидимое пламя, и тот кто раз видел это, вряд ли станет улыбаться потом, как отучился от

улыбки Беспалов. Двою стариков, соседей Беспалова, сошли с ума... — Уже нельзя стало различить отдельных людей. Было только бессмысленное метание, кряхтенье, пронзительная детская жалоба, стон и вопли, проклятья, брань и истерический хохот матерей. И некоторые женщины заедино с мужчинами, как тигрицы, кидались на солдат, и те пытались от этого нечеловеческого напора. Другие же пытались закапывать в снег своих детей, а потом, вытащив голых из снега, бросались закапывать их в другом месте, лишь бы утаить их от смерти. Слышно было «гады», «паразиты» и ещё «папочка, спаси меня», и ещё «бабушка, за что они меня терзают», и ещё «чи ты слышишь, мой милый, что я гибну».

Разъярённые немецкие каналы стреляли в упор в головах обезумевших людей, они кидали детей в яму, ухватив за руку и развертев над головой, как лягушат, и что-то чвакало там, наверно, при их падении. Они зарывались с автоматами в самую гущу толпы, начинавшей уже редеть. Они орали во всё горло: «сакрамент» и «шайзе», что, кажется, означает «гадость» на их блестном, зверином языке; видать, сами валькирчи бушевали над ними! И так, подбадривая себя криками, возгласами, они ещё до сумерек доверили дело до конца. Уже вороньё, готовое приступить к трапезе, ждало в почерневших вершинах ближнего леса. Но солдаты ушли не прежде, чем поделили между собой страшную, позорную добычу — эту бедную, забрызганную красным одежду своих жертв. Они не оставили здесь ничего, кроме нескольких разрозненных детских калошек и рукавичек. И одни уходили пешком, таща на плечах трофейные узлы, а другие уезжали в машинах, сытые и гнусая что-то сиплое и древнее, как урчанье гориллы. И когда ушли они, стая птиц опустилась на место побоища...

Беспалов опускает глаза, папироска дрожит в его руке:

— А некоторые ещё забавлялись при этом, — вслух дивится он, — хватали голых, уже полурастянутых за грудь, за сосок, чиркали штыками по телу, волосы выдергивали. Вот тут-то и сошёл сосед мой с ума: голый, выскочив на мороз, принялся рубить топором вытащенный им шифоньер... Страшно, знаете ли!

Не судить бы их, а езжалым кнутом по глазам, которыми они смеют ещё глядеть на вас, мужья, братья и сыновья погибших. Уже целая метель мёртвого пепла крулит и забивает очи. Падает чёрная копоть новых и новых показаний. Сугулые, с посеревшими лицами, подсудимые смотрят в пол. Тяжёл могильный прах; он оседает им на плечи, давит, увлекая в ту же черноту, куда свалены их жертвы... Ой, Германия! Может, полярные океаны да непроходные бездны лежат на путях наших армий к расплате? А что, если не окажется их при границах наших? А ну, взглянем на карту, Германия!

Харьков.
«Известия», 19 декабря 1943 г. *

* Напечатано под заголовком «Так это было».

Величавая слава

Когда Европа, растоптанная и поруганная фашизмом, думает о своей судьбе, — кнут поработителя или торжество правды предстоит её потомкам, — она вспоминает о нас. Тогда в слезах отчаяния она обращает глаза к востоку, к Красной Армии. Вдовы и сироты трепетно вслушиваются в громовой голос её артиллерии и танков; по географическим обозначениям её побед они высчитывают сроки своего освобождения. Для многих это завтра наступит слишком поздно, а сегодня только она одна, Красная Армия наша, в полную силу бьётся с мрачным и подлым злодейством.

Море крови, в котором мир стоит сейчас по горло, обязывает его к справедливым оценкам людей и явлений. На своём страшном опыте он узнал, что фашизм есть смерть наций, гибель жизни и крушение культур; пропись перестаёт быть банальностью, когда она написана кровью по живому мясу. И потому всё нынче в могучей руке твоей, советский воин: смех детей и мудрые дары наук, цветенье садов и блестательные свершения искусств. Слава твоя величавей славы знаменитейших людей прошлых веков: Ибо величие состоит не только в том, чтобы создать сокровище, но и в том, чтобы грудью отстоять его в беде, не выдать его на потеху дикарю.

Множество великих имён мы подарили миру. Там были мечтатели и подвижники, люди глубочайшего социального прозренья, планировщики вселенной, разгадчики ма-

терии, строители и поэты. И слишком много полновесного зерна мы всыпали сами в закрома культуры, чтоб ставить урожай будущих веков под угрозу нового Аттилы и его вооружённых хулиганов. Мы всегда ясно понимали, в какую эпоху человеческого развития мы призваны творить и строить, и оттого с самого начала не было у нас ничего дороже Красной Армии нашей. Единство советского народа, о котором мы так часто и с гордостью говорим, отразилось прежде всего в единой любви к этому стройному созданию двух великих отцов нашего народа. Все лучшие качества наши заключены там. Армия наша — воин с обнажённым мечом у источника жизни.

Она выросла на глазах нашего поколения, и мы по справедливости гордимся, что сами прошли её суровую школу в годы гражданской войны. Но какой громадный путь — от легендарной, рассекающей пространства, лихой конницы Ворошилова и Будённого до гвардейских танковых соединений Ротмистрова и Рыбалко. Как расширилась эта тесная вначале семья героев, полководцев и рядовых её солдат. Зигзагами, точно ходом молнии, пройдена взад и вперёд вся страна, и везде, в каждом безвестном полюшке было пролито по бесценной рабоче-крестьянской кровинке, и поэтому трижды дорога она нам, родная земля... Как выросли её подвиги, её техника, её знания! От Перекопа до Сталинграда, от тачанок до самоходных пушек и гвардейских миномётов, от разгрома косной царской реакции до побед над внуками Шлиффена и Клаузевица, этими профессорами научного империалистического грабежа! Честь такого неслыханного пути делят отвага и труд советских людей, их самоотверженность и преданность ленинско-сталинской идеи.

И когда вчера шесть знаменитых наших городов салютовали в честь Красной Армии, они салютовали тем самым народу, вверившему ей свои лучшие чаяния, своё достояние и самых сильных своих сыновей.

У всякого народа есть дорогие имена прозорливых во-
ждей и песенных героев. В них он вкладывает простое и
мудрое содержание, не требующее толкований, наделяет
их страстной и суровой нежностью и всеми совершенст-
вами, накопленными в веках. Когда беда ломится в во-
рота нации, её дети объединяются вокруг этих имён, ор-
лята во множестве рождаются в народной гуще, и стаи
их обрушаются на врага. И тогда горе врагу, его мате-
рям и обманутым его воинам, горе его убогим вожакам,
обнажившим меч неразумной и неправедной войны. И
светлая слава отцу наших молодых орлят, создателю мо-
щи нашей, который смотрит за горизонты и видит то, чего
не дано видеть всем!

И вот армия наша с молчаливым гневом идёт на запад.
Бывалые солдаты её говорят: ты хотел нас взять напугом,
Гитлер, но не вышел твой блиц-испуг. Зато вот мы тебя
теперь попугаем!.. И ещё говорят ветераны, скав зубы,
что всё бывшее ранее — только присказка, а самая сказка
ещё впереди, когда начнёт крошиться и лететь кусками
хвалёная и перехвалёная немецкая сталь. Эти люди сдер-
жат своё солдатское слово. И когда они ступят на почву
Германии, рухнет фашистский притон, и под обломками
его погибнет пруссачество. И чем чернее будет траур в
Берлине, тем светлее солнце над Европой.

Близится час окончательной расплаты с гитлеровцами
за все их злодеяния.

Будет день, когда Гитлер ступит на эшафот, если толь-
ко не свалит его раньше, не придушит где-нибудь в бом-
боубежище благоразумие германского народа. Он увидит
вокруг себя ужасную, обугленную Европу и, оглядев-
шись, содрогнётся, как задрожала тень его, Лангхельд в
Харькове, увидав из окошка петли мерзкие дела своих
рук. И пусть он висит долго, на деревянном глаголе, этот
прилично одетый господин, мастер кнута и душегубок,
пока не насытятся взоры его жертв. Потом его сожгут и

зароют в землю гадкий серый порошок и постараются забыть, как скверный сон в ночи, длившийся почти полтора десятилетия. Человек опять поднимется из праха, куда его повергла фашистская тирания, и миллионы немцев, вынужденные оставить ремесло разбоя, пусть честным трудом постараются вернуть себе место среди народов.

Мир процветёт ещё прекрасней, чем раньше; новые ветви брызнут от корней жизни, которую оберегла от фашистского топора бережная рука Красной Армии. Но уходя всё вперёд и вперёд, к звёздам, и оглядываясь назад, человечество долго ещё будет видеть в немеркнувшем солнце вас, красноармейцы и маршалы, чьи головы гордо возвышаются над нашим грозным, безжалостным и прекрасным веком!

«Правда», 24 февраля 1944 г.

Речь о Чехове

Моё литературное поколение обладало счастьем видеть, слушать и непосредственно учиться у зачинателя нашей — вот, уже не очень молодой! — советской литературы, Максима Горького. Почтительно и робко мы жали его руку, ещё сохранявшую тепло толстовского и чеховского рукопожатия. Люди до конца дней несут на себе отпечаток своих ближайших и старших современников. В голосе Горького слышалась нам суровая интонация толстовской речи, а в его взоре являлся порой проникновенный, неподкупный и достигающий мельчайшей клеточки души, чеховский юморок.

В могучей русской тройке, пересекшей рубеж нашего столетия, Толстой был как бы коренным. Нам, нынешним, он представляется вовсе недоступным для, скажем условно, творческого прикосновения. Он даже и не снился никогда нам, молодым литераторам, хотя бы как Горький, который и сейчас зачастую приходит к нам, в беспрекословную ночь художника, поддержать строгим отеческим наставлением. Мне думается, равным образом, что ещё не начало остывать и вещественное, телесное тепло Антона Чехова. В сущности, никто из нас не удивился бы, если бы они вошли сейчас сюда, друзья, и сели за столом президиума, перешучиваясь по поводу торжеств-

венного блеска этих огней и многолюдности такого собрания в честь одного из них. Да будет мне позволено признаться, я почти слышу, как сказал бы Алексей Максимович спутнику своему, замолкшему от смущения, — мельком и своеобычным жестом касаясь усов:

— Ишь, что затеяли, черти драповые! Теперь ваша очередь, Антон Павлович. Терпите, сами виноваты... Все мы проходим через это дело.

Да, это он виноват в том, что, отбросив большие очередные дела, вы собрались здесь, гордые могуществом и всемирной славой нашего русского слова, вы — объединённые принадлежностью к такой красивой и грозной семье советских наций, вы — предсказанные ими в темнейшую ночь царской реакции: и те, которые пришли сюда из университетов, лабораторий и кузниц победы, и те, которые, незримо присутствуя здесь, громово стучатся сейчас в железобетонную берлогу зверя.

Приподнятость моего слова происходит от моего волнения — говорить о своих учителях в час кровопролитной битвы, самой священной битвы в истории России и человеческого прогресса.

Тогдашняя Россия не уберегла для нас Чехова. Он умер рано, мы даже не умели оплакать эту утрату соразмерно её значению. Мы в лошадки играли в тот день, когда перестало биться сердце Антона Чехова. На радость нам живут и творят с неслабнущей силой его друзья и близкие, к кому мы обращаем сегодня свою благодарную сыновнюю нежность. Но сами мы не испытали равного счаствия непосредственного, духовного и физического прикосновенья к Антону Павловичу. Мой беглый очерк может не совпасть с действительным обликом Чехова, какой сохранился в памяти его современников. Я не исследователь литературы, а лишь старательный читатель,

создающий собственное представление о великой личности в пределах доступного ему материала.

Волна, которую в мировой литературе поднял Чехов, не улеглась доныне. Было бы излишне приводить здесь цитаты из Чехова и цитаты о Чехове. Его и о нём, жившем — кажется — столько веков назад, по справедливости знают лучше и больше в нашей стране, чем по поводу любого из нынешних живых литераторов. Любовь к писателю и есть совершенное знание его искусства. Конечно, она возрастёт ещё в большей степени, по мере того, как познание самих себя и своего недавнего прошлого будет становиться потребностью всё более широких народных масс. Сколько нераскопанных кладов таится ещё в нашей земле и действительности!.. Для нынешнего читателя Чехов давно перестал быть только пессимистом или певцом сумерек и хмурых людей, как именовала его когда-то часть тогдашней критики. Она упрекала его в бесстрастии, требовала от автора точной общественной формулы, почти тезиса или, во всяком случае, социального пароля... и, нам понятно, иначе и быть не могло в ту пору накопленья боевых сил!.. но не заместимо никакими иными категориями целомудрие художника, и я затрудняюсь предсказать судьбу прекрасной прозрачной чеховской прозы, если бы этот взыскательный автор попытался в своей писательской практике взять предъявленным ему требованиям.

С Чеховым в литературе и на театре народилось понятие подтекста, как новая, спрятанная координата, как орудие дополнительного углубления и самого ёмкого измерения героя. Громаден подтекст чеховской жизни. Мы имеем дело с на-редкость скрытым и строгим к себе мастером — лермонтовской словесной сжатости, серовской точности рисунка. Он больше прилагает усилий не для того, чтоб родить слово, а чтоб убрать, смыть его совсем,

если оно лишнее: остаётся лишь вырезанное навечно по бронзовой доске. Как в больших старых звёздах, весит тонны каждая строка такого плотного словесного вещества. Мне представляется,— операционная лампа особого высокогорного света сияет над операционным полем у этого тончайшего душевного хирурга: всё видно, и ни одной, отвлекающей, рассеивающей детали!.. Но и писательские подтексты Чехова, скрытые под этими девственной чистоты пеленами, огромны.

Сущность разногласий в оценках тогдашней критики, по моему разумению, заключалась в том, что все так называемые больные вопросы Чехов решал не в тесной прокуренной каморке, а под спокойным синим куполом родной природы. И хотя такая сдержанная манера изложения у Антона Чехова никак не походила на разящий сарказм Щедрина или горечь Успенского, нам виднее из этого места и нашего времени, что всё творчество Чехова было собранием острейших улик, представленных на вывод русскому общественному мнению, — пространным обвинительным заключением о строе прежней жизни, слегка прикрытым кое-где маской безразличной концовки — «ничего не разберёшь на этом свете!»

Но кому было нужно, те разобрались! Они поняли, почему в глухую ночь сердился почтальон и не отвечал студенту в «Почте» и куда вели в конце концов огни в одноименном рассказе и отчего так упорно не спалось, несмотря на вполне сытую, хорошо отоваренную жизнь, профессору Николаю Степановичу в «Скучной истории». Вот почему люди на Руси всегда становились лучше и честнее после прочтения книг Чехова. Он внушал отцам нашим презренье к мелкой обывательской суетне, он потряс основы зоологического буржуазного благополучия и понятие благородства человека, как и Горький, делал производным от его полезности обществу. Только

оптимист, цельной и неколебимой нравственности человек, был способен на такое искусство, и не автор виновен, что в просторном зеркале его, чеховского, творчества так часто отражались печенеги и жабы, рожи пришибевых и аксиний, каплуны, задыхающиеся в собственном жиру, и просто футляры от человечков. Именно такими существами, как всякий рассвет, кишили тогда предутренние сумерки России.

Это был огромной и скрытной страстиности человек, почти мужицкого душевного здоровья и владевший неугасимой верой в великансскую судьбу России. Он бесконечно любил свою родину, хотя и не очень часто распространялся об этом. Истинная любовь скуча на призыва. Матросов и Гастелло также вряд ли много рассуждали на эту тему. И, может быть, сильнее всего выражена такая любовь в величавом молчании тех, которые бесстрашно и бесжалобно полегли в нынешних боях за независимость родной земли!.. Та Россия существенно отличалась от нынешней, но Чехову дорога была и та, полная народного горя и надежды на чудесную правду, которая поступится однажды в окошко России и мира. Он обожал Москву тех лет, криклившую и пыльную, со щербатыми мостовыми, и даже континентальная погодка московская представлялась вполне замечательной ему, обреченному погибнуть от туберкулёза... Но, любя родину, он никогда не льстил ей, как делают это чужие и лукавые, чтобы пригасить её настороженную бдительность. Писатель Чехов был крепко болен Россией, а такие имеют право на грустное, а порой и сердитое слово. Иногда этот врач ставил ей жестокий диагноз, но то не была лишь злая констатация факта, и в самом диагнозе заключалась, хоть и туманная порой, система лечения. Родники возрождения уже буравили снизу нашу землю, и пока уже народившиеся искатели народного счастья не отыскали эти источники живой воды для воскрешения

своего народа, он жил работой и такой же действенной мечтой.

Ею, как животворящую росой, обрызганы страницы его книг. Он звал на землю красивую жизнь, где справедливость и нет нужды и где труд положен в основу существования. Знал он также безмерно трудную цену такой красоте, и никогда не усомнился, хватит ли у его народа духовных средств на её оплату. Достоевскому в дневнике писателя за 1877 год казалось, что Россия уже стоит накануне событий. Гораздо позже Антон Павлович определял расстояние до них в двести лет. Эти равно пророческие сроки не совпадают потому лишь, что медленней всего время течёт на рассвете, и последний, самый холодный и тяжкий час перед восходом солнца тянется почти тысячелетие.

Смотрите же, как медленно наступало утро в России, в какое дальнее плаванье отправлялся тогда русский рабочий класс, на какой подвиг решался он и его ядро, впоследствии — детонатор революции, большевики! Чехов уже сознавал, что интеллигенция бессильна в одиночку, без масс бороться с животным, жестоким укладом российской жизни. Вспомните, как бьётся в истерике Катя и цепляет руку старому, мудрому Николаю Степановичу и молит: «Не могу я дальше, говорите же, что мне делать...» Помогите мне! И этот крайне просвещённый деятель, в полной мере разделая её отчаянье, сам не знает выхода из тогдашней удущивой житейской мглы. Дело происходит в 1888 году.— Ровно за год перед тем петербургская ночь была ещё темнее, и виселица стояла посреди, и к ней, ёжась от утреннего холода, шёл с откинутой головой и в последний раз глядел на майские гаснущие звёзды Александр Ульянов. Прикоснитесь же сердцем к этому медлительному континентальному времени, как если бы вы сами жили в эти годы!.. Только через пять лет младший

брат его, имя которого со временем с надеждой и верой произнесут народы земли, поедет из Самары в Петербург по окончании Казанского университета. А другому великому человеку, который уж в наши дни во главе победоносных армий ступит на голову последнего пещерного зверя, фашизма, пока только девять лет. И должно пройти ещё десять лет, когда произойдёт 1-й съезд РСДРП, ещё без Ленина, съезд из девяти человек. Четырнадцать лет спустя молодой Сталин поведёт наших отцов и дедов на батумскую демонстрацию... Какая рань России и русской революции!

В зловещих сумерках, едва окрашенных полоской зари на горизонте, чёрный голод пройдёт по недородным губерниям; большой по размерам царь сменится царём помельче; в раздирающей уши тишине пробренчат стихи Надсона о разбитых жертвенниках, пока не закопает его в могилу вместе с рыдающими аккордами мракобес Буренин. В эти годы сопьётся Николай Успенский и сойдёт с ума брат его Глеб, а Гаршин, не в состоянии дышать этой тьмой, кинется в пролёт, чтобы распороть себе грудь об острое литьё чугунной печки... Как много поучительных уроков и материала для раздумий в одном этом сопоставлении дат!..

Так вот почему не спится чеховским профессорам: в ночи раздаётся зов народа, и грозная, мучительная совесть пробуждается в русском человеке. Всё более широкие пласти родной земли приходят в движение, и под окном возникает мелодия набатной песни — «на бой кровавый, святой и правый, марш — марш вперёд...»

Вот откуда шла жгучая тоска нашего любимого писателя. Близился рассвет в России, и было страшно не дожить до этого желанного часа. Признаёмся, умереть сегодня, не дождавшись окончательного торжества правды и нашего оружия, было бы неизмеримо легче, чем в ту без-

утешную ночь. Мы видели индустриальное преображение наших равнин и гор, каждый из нас хотя бы по разу жал руку воистину новому человеку на земле, мы были свидетелями или участниками Сталинграда и Днепра, Орла и Витебска, мы слушали десятки раз московские салюты, мы знаем точно, наконец, как будет выглядеть завтрашний день победы... А Чехов не дожил даже до первого боевого крещения России революцией. С кем более жестоко поступила судьба — закопать в землю ровно за год до осуществления того, чему служил, во что верил, над чем столько трудился!

Сорок лет нет Чехова между нами, а чеховское имя всё выше поднимается к звёздам. И даже грохот этой страшной и прекрасной по своим целям войны не может заглушить ровного, явственно слышимого всеми нами сегодня, милого чеховского голоса. Верный сын и спутник России, Чехов идёт и нынче в ногу с нею. Он свой везде, желанный всюду; он запросто входит в дом стахановца, присаживается к столу академика, перед атакой беседует в землянке с офицером и бойцом, которым мы обязаны сегодня чудесной возможностью собраться здесь, под уверенным, безгрозным небом Москвы. Народ отразился в Чехове, и Чехов отразился в духовном облике своего народа. Героиня Зоя сделала тезисом своего житейского поведения слова его героя Астрова. Какая честь для литератора, даже для гения!.. По существу, не день смерти, а день его нового рождения для широчайшей народной массы мы собрались отметить здесь. Да, Чехов жив, он работает вместе с нами и, порою, больше иных живых литераторов нашего времени. Чехов дожил до торжества и расцвета правды.

Счастлива литература, имеющая таких предков. И тем большие ответственность и обязанность ложатся на нас, нынешних литераторов, наследников чеховской и горьков-

ской славы. Они заключаются прежде всего в том, чтобы передать тем, которые ещё моложе нас,— неистраченное, неостылое, полученное нами от Горького человечное тепло чеховского рукопожатья.

*Произнесено на торжественном заседании
в Большом театре, в Москве.*

16 июля 1944 года.

Немцы в Москве

Сей беглый очерк о поучительном московском происшествии станет достоянием не только моих соплеменников. С понятной тоской и проникновенной злобой его прочтут блатаки из берлинского шалмана. Им тоже захочется узнать о судьбе громил, пущенных на поиск чужого добра, и, таким образом, заглянуть в собственное будущее. Поэтому я и взял на себя труд расширить как географические, так и чисто описательные координаты помянутого события.

Это произошло в Москве, красивейшем из городов нашей эпохи, одетом в мечту геронческого поколения. Все дароги в его будущее ведут через Москву, и потому все взоры обращены к её Кремлю, видному сейчас из самых отдалённых заходустий мира.

Прекрасна Москва даже в знойном июле, когда пьянят сердце приезжего такие хмельные — аромат лип и тишина её вечерних улиц, точно поезда в вечность проносятся мимо, и сама она лишь скромный полустанок по дороге к счастью... Незабываема она теперь, в июле четвёртого года войны, старшая сестра фронта, забывшая боль и усталость, — город внушительного и непоказного величия, у подножья которого прокатилось и потаяло столько завоевательских волн!

В особенности же хороша была Москва 17 июля 1944 года. Почему-то Геббельс и его речистые канаты не рас-

кричали на весь мир про эту знаменательную дату. А именно в этот самый день прибыла сюда, хотя в несколько облегчённом виде, ещё одна армия, отправленная Гитлером на завоевание Востока. Её громоздкий багаж остался позади, на полях сражений. По этой причине немцы более походили на экскурсантов, нежели на покорителей вселенной, и, надо признаться, за восемьсот лет существования Москва ещё не видела такого наплыва интуристов.

Представительные верховые «гиды» на отличных конях и с обнажёнными шашками сопровождали эту экскурсию. Пятьдесят семь тысяч немецких мужчин, по двадцать штук в шеренге, проходили мимо нас около трёх часов, и жители Москвы вдоволь нагляделись, что за сброд Гитлер пытался посадить им на шею в качестве устроителей всеновейшего порядка. Как бы отвратная зелёная плесень хлынула с ипподрома на чистое, всегда такое праздничное Ленинградское шоссе, и было странно видеть, что у этой пёстрой двуногой рвани имеются спины, даже руки по бокам и другие второстепенные признаки человекоподобия.

Оно текло долго по московским улицам, отребье, которому маньяк внушил, что оно и есть лучшая часть человечества, и женщины Москвы присаживались где попало отдохнуть, устав скорее от отвращения, нежели от однообразия зрелища. Несостоявшиеся хозяева планеты, они плелись мимо нас — долговязые и зобатые, с волосами, вздыбленными, как у чертей в летописных сказаниях, — в кителях нараспашку, брюхом наружу, но пока ещё не на четвереньках, — в трусиках и босиком, а иные в прочных, на медном гвозде, ботинках, которых и до Индии хватило бы, если бы не Россия на пути!.. Шли с ночлежными рогожками подмышкой, имея на головах фуржки без дна или походные котелки с дырками, пробитыми для проветривания этой части тела, — грязные даже изнутри, словно нарочно подбирал их Гитлер, чтобы ужас-

путь мир этим стыдным исподним лицом нынешней Германии. Они шли очень разные, но было и что-то общее в них, будто всех их отштамповала пьяная машина из какого-то протухлого животного утиля.

Эти живые механизмы с пружинками вместо душ не раз топали под музыку по столицам распластанной Европы. Старые облезлые вороны с генеральскими погонами принимали завоевательский парад на парижской Плас-Этуаль, и радио послушно разносило по всей планете эхо чугунной германской поступи. Эти же проходили по Москве уже далеко не церемониальным маршем, и в растерянной улыбке у иных, ожидавших встретить разрушенную Геббельсом Москву или шаманов со стеариновой свечкой в зубах на улице Максима Горького, был примечен проблеск ещё неуверенной, неоформившейся мысли. Другие откровенно улыбались, не скрывая животную радость, что удалось вовремя и невредимым вывернуться из-под берёзового гитлеровского креста: нет ничего глупее, как умереть летом 44-го года за обречённого барина Адольфа, защищающего ныне лишь собственную шею от смолёной надёжной удавки...

Прищурясь и молча, глядела Москва на этот наглядный пример бесконечного политического падения. Только из гнилой сукровицы первой мировой войны могла зародиться инфекция фашизма — этого гнуснейшего из заболеваний человеческого общества. До какого же непотребства и скотства фашизм довёл тебя, Германия, которую мы звали и в твои лучшие годы?

Шествие вурдалаков возглавляли генералы, хорошо побритые, числом около двадцати. Стратеги шли с золотыми лаврами на выпушках воротников и в высоких офицерских картузах, с вышитыми рогульками и опознавательными значками на груди и рукавах, чтоб никто не смешал степеней их превосходительного зверства: они были в больших и малых крестах за людоедство, юдосд-

ство и прочее едство, с орденами Большого Кайна или Ирода 1-й степени, и с теми дубовыми листками, которые Гитлер раздаёт своим полководцам для прикрытия воинского срама.

У передних, кроме того, мы отчётливо разглядели большую чёрно-белую свастику, прикреплённую к кителю близ подвздошной области, — признак принадлежности к уголовно-политической организации, провозгласившей тунеядство и паразитизм основной из национальных добродетелей. Даже не смижение волка, у которого перебит шейный позвонок, читалось в этих щеголеватых фигурах, ибо есть и у волка своя смертная гордая стать: тутое равнодушие прочла Москва во всём облике этих всемирных бесстыдников.

Народ мой и в запальчивости не переходит границ разума и не теряет сердца. В русской литературе не сыскать слова браны или скалозубства против вражеского воина, пленённого в бою. Мы знаем, что такое военно-пленный, и понимаем цену жизни, когда отчаянье соглашается выменять её на позор. Мы не жжём пленных, не уродуем их: мы не немцы!.. Ни заслуженного плевка, ни камня не полетело в сторону вражеской орды, переправляемой с вокзала на вокзал, хотя вдовы, сироты и матери замучённых ими стояли на тротуарах во всю длину шествия. Но даже русское благородство не может уберечь от ядовитого слова презренья эту попавшуюся шлану: убивающий ребёнка лишается высокого звания солдата... Это они травили и стреляли наших маленьких десятками тысяч. Ещё не истлели детские тельца в киевских, харьковских и витебских ямах, — маловерам Африки, Австралии и обеих Америк ещё не поздно удостовериться в этих одинаково незаживляемых ранах на теле России, Украины и Белоруссии.

Брезгливое молчание стояло на улицах Москвы, насыщенной шарканьем ста слишком тысяч ног. Изредка спо-

коинные, ровные голоса, раздумье вслух, доносились до нашего уха:

— Ишь, кобели, что удумали: русских под себя подмять!

Но лишь одно, совсем тихое слово, сказанное на ухо кому-то позади, заставило меня обернуться:

— Запомни, Наточка... это те, которые тётю Полю вешали. Смотри на них!

Это произнесла совсем обыкновенная, небольшая женщина своей дочке, девочке лет пяти. Ещё трое ребят лесенкой стояли возле неё. Соседка пояснила мне, что отца их Гитлер убил в первый год войны. Я пропустил их впред. Склонив голову, большими, не женскими руками придерживая крайних двух худеньких девочек постарше, мать глядела на пёструю, текучую ленту пленных. Гримадный битюг из немецких мясников, в резиновых сапогах и зелёной маскировочной вуальке позерх жёсткой, пропылённой гривы, переваливаясь, поровнялся с нами и вдруг, напоровшись глазами на эту женщину, отшатнулся, как от улики. Значит, была какая-то непонятная сила во взгляде этой труженицы и героини, заставившая содрогнуться даже такое животное.

— Поизносилась немцы в России, — сказал я ей лишь затем, чтобы она обернулась в мою сторону.

На меня глянули умные, чуть прищуренные и очень строгие глаза, много видевшие и ничему не удивляющиеся... а мне показалось, что я заглянул в самую душу столицы моей, Москвы.

«Правда», 19 июля 1944 года

Сердце народа

Мы живём в ту пору, когда образуются традиции и обычаи новой социальной эры. Незаметно, на протяжении всех двадцати семи лет они прочно впитывались в нашу кровь, речь и привычки. Так установилось, например, что октябрьский праздник начинается в канун великой даты, на торжественном заседании столичных депутатов. Этого часа страна ждёт задолго до его наступления, хотя пробыть там этот час — удел немногих. Как бы ни был обширен будущий Дворец Советов, всё равно вся она не уместится в нём целиком. Миллионы будут и тогда присутствовать там лишь незримо, волей и сердцем. Зато в эту ночь необозримые, от моря до моря, наши пространства становятся самым громадным залом из всех, какие способен построить всенародный и взъявленный людской гений. Настоящие звёзды вкраплены в его кровлю, и под нею, плечом к плечу, стоят лучшие люди нашей земли, мастера жизни, подмастерья и их ученики: мы, советский народ.

Так повторится и завтра, когда не поле боя, а иной, омытый от зла мир станет ареной творческой деятельности ссвобождённого человека. Уже никто не посмеет грозить нашим городам, сокровищам и малюткам. Кровавая быль о последнем и скверном бунте обезьян отодвинется назад, в международный судейский архив, в школьный учебник, и только великолепная правда о народе-освободителе

останется сиять в веках, затмевая сказания о Персее и Геракле. Он уже приблизился к нам, желанный и заслуженный праздник на нашей улице, который голосом Сталина предсказала нам история. Но заключительная страница небывалой битвы за людскую радость ещё не дописана, ещё не испит нами весёлый хмель полной победы, а самые памятные и значительные минуты в нашем существовании — те, что предваряют счастье. Тем неповторимее, тем дороже нам осенний вечер сорок четвёртого года, к которому мы навсегда сохраним суровую солдатскую благодарную нежность.

В этот вечер история опять говорила с нами голосом вождя. Затая дыхание, весь народ внимал этому, самому точному и сокровенному знанию на свете. Как в магическом зеркале, он видел себя во весь рост и познавал историческую значимость своих исполинских усилий. Была как бы сдвинута мгла с будущего, и мы взглянули в него с высоты орлиного полёта. Мы ликовали в эту ночь, гордые могуществом наших армий, что вымели бесчестный иноземный сброд за наши государственные границы. Всех нас — в цехах и клубах, в колхозах, на площадях затемнённых городов или далеко за Тиссой, у походных танковых раций — объединяло высшее чувство братской связи, выраженное в предельной преданности отчизне и вождю...

И ты также был с нами, безвестный наш воин, бессонно пролежавший эту ночь в мокрой шинели на передовом дозорном пункте. Вместе со всеми нами ты слушал обстоятельный — а сердцу твоему казалось такой краткий! — политический обзор, которым Stalin открыл очередной советский год. И может быть, ещё отчёливей, чем до нас, доходило до тебя простое, такое спокойное и любимое слово Родины. Пускай не было перед тобой чёрного волшебного диска, говорящего знакомым человеческим голосом, и ничего не было кругом, кроме затихшего товарища

да холодного автомата под рукой, да ветреной восточно-прусской непогоды. Голос Сталина звучит везде, где живёт и дышит советский человек, ибо сердце человеческое — вот самый совершенный инструмент для передачи мыслей и чаяний народных на любые, хотя бы сказочные расстояния!

И, взглядаваясь во тьму затихшей фашистской берлоги, ты думал, верно, о том же, чем полны были и наши мысли:

— Веселись и пой нам снова, старая наша мать, как певала раньше. Вернись в свой освобождённый плодоносный сад, который заботливо садила твоя честная, потемневшая от труда и солнца рука. Ты проветришь и отмоешь до чиста опрятный и просторный дом, загаженный дыханием временных поганых постояльцев. А мы застроим вновь недавние пепелища и, если потребуется, воздвигнем вдесятеро. Взгляни же на наши мускулистые руки, разорвавшие пасть зверя, и улыбнись богатырской молодости твоих сынов!

Несомненно, сразу на сотню земных наречий переводился октябрьский сталинский доклад, и уши всех радиостанций мира были устремлены в этот час к Москве. Конечно, с чувством должного удовлетворения высушали наши боевые соратники высокую оценку своего воинского мастерства и размаха из уст знаменитейшего полководца современности. Забыв на это время прочную, многолетнюю и уже бесслёзную скорбь, поработённые народы также радовались приближающимся срокам освобожденья. И мы уверены, равным образом, что были и незванные слушатели московского заседания, радиолазутчики,— Германия.

Наверно, украдкой друг от друга, воровски приникнув ухом к эфиру, вся эта людообразная шпана вместе со всем человечеством внимала голосу истории. Они подслушивали, утратив представление о времени и не пропуская ни слова, а то, чего не понимали на чужом языке, им не-

медля переводила их чёрная блудливая совесть. Скотского страха в их затаённом безмолвии было теперь впятеро больше, чем прежней животной ненависти, — страха пополам с пытливой любознательностью, ибо подлецу в особой степени свойственно интересоваться своей судьбишкой, какой бы жалкой она ни была. Хитрейшие из них отчётиливо сознавали, что в последний раз слушают праздничный голос Москвы. В том же магическом зеркале новогодья с испариной ужаса они видели себя такими, как они станут выглядеть через год — в продолговатой деревянной упаковке, с удавкой на шее, — и это будет последний военный расход Объединённых наций на разгром фашистской Германии.

Как наяву, видим мы на их вполне гнусных харях искальную и недоверчивую улыбку, с какой злодеи всегда выслушивают свой приговор, рассчитывая на какое-то внезапное чудо. Но единственное чудо на виселице — это когда рвётся верёвка над подлецом; тогда её заменяют свежей. Тиски сжимаются всё теснее, беспощадные судьи заглядывают в окна, сама Германия превращается в громадный военный котёл, и напрасно изворотливой звериной догадкой шарит она хоть трешинку в сплошной броневой стене Объединённого содружества: нет там ни даже малой щели, куда могла бы пустить корешок её надежда.

И вот смятенье и отчаянье смерчем проходят по Германии, беженцы мечутся из края в край, волна самоубийств и сумасшествий снова потрясает обречённый притон всемирного злодейства... Но всё это лишь начало!.. Погоди, Германия. Ты увидишь худшие времена, когда живые позавидуют своим закопанным жертвам. На твоей груди всё мерзее будет разлагаться объевшийся человечиной фашизм, что соблазнил тебя лёгким промыслом международного разбоя, и самое растленное тело твоё засмердит, наконец, потому что слишком глубоко ты принял в себя его зловонное семя.

В своё время мы грудью приняли твой коварный и низкий удар исподтишка и не содрогнулись. Мы не кричали от боли, когда злодейский нож, всаженный в нашу Родину до самой Волги, рвал и кромсал нам внутренности. Мы только бились молча в смертном бою и смотрели на Стالина, и добрый Сталин отечески смотрел на нас. И мы впитали в себя великую силу из этих очей, и притупилось наше горе, и даже женщины и дети наши разучились плакать об уратах. Горько звучит на языках наших народов имя твоё, Германия! Никто не посмел бы осудить нас теперь, если бы даже не справедливость, а лишь слепое свирепое мщенье мы понесли в твои пределы. Посмотрим же, как выдержишь ты сама наш полновесный русский ответ, когда холодным зимним штыком мы пощекочем у тебя под сердцем. И помни: тройное горе упорству твоему, Германия, потому что сопротивление судьям умножает степень преступления.

Мы будем быть крепко. В последней рукопашной схватке мы не растеряем наших обид из памяти, не посрамим чудесной славы павших героев. Наша берёт! Стыдную и многогрешную фашистскую падаль мы закопаем в тухлые курганы к срокам, поставленным нам историей. Тому порукой самые жизни наши и речь Сталина, которой, как клятве, внимало человечество. Он говорил нам о грядущей победе ещё тогда, когда нам было плохо, когда самые честь и достоянье наши стояли под угрозой. Вчера он сказал нам о победе совсем близкой и возвестил, наконец, с высокой трибуны, что вот она свободна, вся теперь — милая наша земля, каждая морщинка которой орошена слезами и кровью предков, кровью и потом потомков. Здравствуй же, долгожданная радость юсвобождения!.. С верой в тебя уходила из нашей семьи Зоя, и Гастелло кидал с поднебесья свою грозное пламя на вражескую колонну, и Матросов юным сердцем затыкал амбразуру немецкого дота. Ночь кончается, но продолжаются суровые

будни войны. Победоносное наше войско готово ринуться с последних исходных позиций на последний штурм самого подлецкого места на земле.

В лютых испытаниях мы заслужили это право — бросить перед атакой бранное слово в пошатнувшегося врага и вслух, в бессчтный раз произнести слово любви к нашим армиям, Родине и Сталину — самому простому и человеческому человеку на земле. Слишком многим обязаны ему все мы, героические современники мои! Высоко парит его крыло, далеко видит его око. Последний клочок ночи ещё держится кое-где в Европе, а в словах вождя уже светятся отблески встающего солнца. Это и есть предвестие нового утра мира...

Вот почему сердце народное, как серебряный колокол старинного веча, звенит, поёт и славит имя Сталина.

«Правда», 8 ноября 1944 г.

Факел гения

ЗАМЕТКИ К ГРИБОЕДОВСКОМУ ЮБИЛЕЮ

Когда народ движется к своим историческим целям, его всегда больше, чем можно сосчитать глазом. Вместе с ним идут духовные предшественники его героев и гениев, создатели его славы и его прогрессивных качеств. Нет, это не просто «вечные» и уже равнодушные спутники, священные реликвии арсеналов, но действенные соратники и участники похода, такие же чернорабочие эпохи, как мы с вами, потому что весь народ, во всех своих измерениях, включая время, осуществляет верховную идею своего бытия... Незримо, нога в ногу, они шагают с нами, и в шелесте наших знамён мы слышим их дыханье.

Этим ощущением взаимосвязи с прошлым страны и начинается чувство родины. Не в том ли и лежат основы наших побед в тылу и на фронте, что наш человек, безраздельно преданный своей советской родине, ежеминутно чувствует в себе мудрую и зоркую волю Сталина, отечески-пристальный взор Ленина — на себе, а над собой — и звонкую славу Суворова, и песенный ветер Пушкина, и громадную, как небо, беспамятную любовь к отечеству, которой проникнут творческий подвиг Грибоедова.

Счастлив народ с такою родословной, и, значит, прочно стоит он на родной земле, если даже в решающие военные дни он находит время справить день рождения сво-

его поэта. За эти ёмкие полтора века мы медленно и твёрдо подымались по ступенькам нашего возрождения, и книга Грибоедова неотлучно была с нами, и теперь, у порога нашего величия, мы можем спокойно оглянуться на ту скорбную даль, откуда Россия выходила на свою столбовую дорогу к звёздам... Сколько же астрономических лет до тебя, богатая и нищая, вольнолюбивая и крепостная Русь?

Даже в сравнении с тем, что нам ещё предстоит, много с тех пор совершили наши люди. Не те стали Москва и москвики, россияне и Россия. Древний город, где впервые зажглась идея национального самосознания, стал, кроме того, колыбелью всемирных и братских идей. Великим монолитным единством спаяно наше общество, новый человек становится героем литературы, и если ещё прячутся кое-где между нами Фамусовы и Молчалины, уже не это определяет равнодействующую в параллелограмме социальных сил. Возмужал и крепнет с каждым годом наш молодой гуманизм, хотя подросло с тех пор и оформилось в лютого зверя и зла, чьё горло хрустит нынче в нашем железном кулаке. Невозможно в одно дыханье перечислить все произошедшие у нас благородительные перемены. Действительно, «как посравнить да посмотреть век нынешний и век минувший» — «свежо предание, а верится с трудом».

Грибоедовское наследие не велико по размерам. К тому же одно осталось незаконченным, а другое сделано в складчину с друзьями: значительная часть его построена по старой романтической моде или засорена отжившей древне-славянской архаикой. Думается, выдающийся русский дипломат Грибоедов, дожив до старости, постарался бы скрыть от исследователей литературы эти поэтические улики пылкой и неумелой молодости. И без того, впрочем, они остались бы в тени, если бы не падал на них ярчайший свет главного его творения.

Из-под одного и того же пера вышли и блистательная комедия «Горе от ума» и, скажем, «Давид» или «Радамист и Зенобия»; мы привыкли к мысли, что Грибоедов — автор одной книги, как Данте или Сервантес, чья творческая биография также не ограничена лишь одним созданием. Но в этом большом разговоре нас занимают не те ценнейшие дополнительные листки, в которые было завёрнуто сокровище, а тот самый насущный чёрный хлеб духовный, каким питалось человечество в своих исторических перекочёвках. И ещё — что же было причиной такой единственной вспышки гения?.. Создаётся впечатление, что лишь однажды прекрасная разгневанная мудрая посетила «уединенья уголок» Грибоедова, и вот — кусок прометеева пламени, оставленный ею на столе поэта! Оно уже не жжёт так, как обжигало современников, но нам, наученным ценить и искорки честной, освободительной мысли, были бы дороги даже холодные уголья из костров, возле которых грелись людские души в ту глухую ночь.

Может быть, кроме самого Рылеева, только Пушкин стоял так близко к декабристам, как Грибоедов. Вспомните, как рукоплескали они «Горю от ума». Да он и был, конечно, декабристом, беспартийным декабристом он был: не только творчески, но всем своим поведением автор «Горя» выдавал своё истинное политическое лицо.

Стоит только представить, какой бледный и взволнованный сидит Грибоедов на ермоловском обеде, пока столичный гость Дамиш рассказывает о декабрьских событиях в столице. Он то сжимал кулаки, то потерянно разводил руками и, наконец, разрешился знаменательной фразой — «вот теперь в Петербурге идёт кутерьма. Чем-то кончится!» За одно несоответствие этой вынужденной реплики и явного смущенья петербургский фельдъегерь должен был тотчас же арестовать Грибоедова, будь он

проницательным следователем... А униженные грибоедовские мольбы за своих опальных друзей — Бестужева и Одоевского, а поиск лёгкой гибели на фронте и последующее творческое молчание Грибоедова, потому что не пять, а шесть царских петель сомкнулись на рассвете 13 июля 1826 года, и в шестой удавили грибоедовскую музу! И если Пушкин на тридцать восьмом листке своих черновых тетрадей, машинально рисуя декабристскую виселицу, бессознательно и страшно чертил, как пробу пера — «я бы мог... и я бы мог...», какую же смертную тоску должен был испытывать осиротевший Грибоедов, в котором при гениальности этих обеих стихий гражданина, конечно, было больше, чем поэта, в узком значении этого слова.

Сердцем — в тот пасмурный зимний денёк — он был, конечно, вместе с ними, декабристами, на Сенатской площади, хотя умом и сознавал он, что всё это лишь первый, без разящей молнии народного гнева, гром русской весны, что решающая сила жизни даже не у Чацкого, а там, в заботах уральских рудников да в бедных мужицких избах, у лучинушки. Уж он-то крепко знал, что есть идеи, которые можно выразить лишь в массовом народном действии... Впрочем, царь всё это уразумел давно, и он не прозевал Грибоедова, но он расправился с ним позже, через посредство сложной системы политических и психологических рычагов. Словом, подлая пуля Дантеса вышла из той же оружейной мастерской, что и клинок Алаяр-хана!

Итак, бывают поэты особого гражданского склада, для которых во всём многоголосом хоре жизни есть лишь одна достойная тема,— с нею прочней всего соединяется душа поэта, почти инертная ко всякому другому реактиву. Они существуют как две полярные стихии, и если дано им соединиться хоть раз, в этой точке возникает пламеняная дуга, как при сближении электродов. И когда девст-

венно честна душа и химически чиста и жестока правда, такое пламя в состоянии и разрушить проводники тотчас по возникновеньи. Но за время кратчайшей этой вспышки человечество или соплеменники успевают разглядеть и уязвимое место зла, и дорогу вперёд, и собственные немочи, мешающие его движенью. В этом ряду я поставил бы и Некрасова, и Салтыкова, и милого нашего, ближайшего из учителей, Максима Горького.

Вот так же, в свете грибоедовского факела, высоко поднятого в николаевскую полночь, мыслящая Россия увидела вдруг, что препятствует ей выполнить её исторические предназначенья. То были — уродливо и внешне усвоенный европеизм, национальный застой, рабская скованность жизни, зубатая крепостническая бюрократия, и ночь, ночь, в которой бесшумно, на четвереньках пока, движется Молчалин к своему победоносцевскому креслу. Они плодовиты, Молчалины, и, наверно, крадётся он не один, а вся его обширная родня, отравленная близостью к крепостной фамусовской усадьбе, неся впереди себя загребущие руки к России, пока спит и видит во сне свою октябрьскую мечту её хозяин, исполнин-народ... Не от Молчалина ли, кстати, этого адама подхалимов, пойдут те, кто впоследствии станет душить наш не окрепший ещё прогресс, жать кровавый сок из трудового простонародья, вырубать вишнёевые сады и презирать барским фамусовским презрением и русского мужика, и русского рабочего, этот многомиллионный домкрат, силой которого, как обетованный остров из хаоса, поднимается новая эра земли с её новым гуманизмом.

Естественно, что не всем нравилось «Горе от ума» в ту пору, как и сегодня нравится оно не всем,— значит, ещё не выдохлось из него ядовитое лекарство, если и теперь его трепещут человеко-крысы. О, всегда хватало гадких людышек, которые вдосталь жрали сытный русский хлеб и усмехались на его творца и, втихомолку пре-

зиная русскую культуру, с надеждою взирали на «спасительный» Запад, где их удовлетворило бы местечко отельного холуя,— аристократы заграницного ширпотреба, готовые своё первородство сменять на коверковые штаны, бутылку вермута или хромированную зажигалку!

В этом направлении много поработала за отчётный срок грибоедовская комедия, могучая книга-труженица, в некотором смысле и воспитательница всех нас. На передовой части всех поколений, чередовавшихся у нас с начала девятнадцатого века, лежит благородный отпечаток этой работы. Она как бы впиталась в разум и чувства наши целиком. Средне грамотный человек по строчкам знает её наизусть, и дайте лишь начало мелодии, реплику Лизы — «светает!.. Ах! как скоро ночь минула!», и мы уже вступили в этот старознакомый, немножко музейный, московский дом, где нам известен каждый уголок. Сейчас звяграют нортоновские часы, и выплывает Фамусов в халате, несколько смущённый несвоевременной флейтой Молчалина, потом ворвётся Чацкий, и начнётся великолепный скандал в благородном семействе всероссийского помещика Николая I.

Создатель «Горя» был русским человеком, но разные русские бывали на Руси. Грибоедов был умным и спириведливым русским, националистические чувствования были чужды ему и никогда не отемняли его светлой любви к России. В этом свете глубоко знаменательна первая же заметка в его записях по Петровской эпохе. Там упоминается об одном, по-тогдашнему говоря, «инородце», который по возвращении из-за границы был пожалован Петром в офицера, а русский барин его — в матросы; позже этот крепостной раб стал русским контр-адмиралом. Эта маленькая подробность сближает патриотизм Грибоедова с нашим советским патриотизмом, идея которого выражена в нынешнем Союзном гимне.

Множество книг родилось и умерло за это время, но грибоедовская цела, потому что в отличие от книг, напечатанных на бумаге, эта написана нетерпеливой рукой в благодарной и нетленной памяти народной. Житейские формулы комедии превратились в наши пословицы, её персонажи стали нарицательными типами, и только Гоголь да Салтыков-Щедрин, великие мастера меткого словца, оставили по себе такие же щедрые словесные россыпи в нашей речи. Влияние грибоедовского языка выходит за пределы одной литературы. Сам Ленин черпал свои polemические образы из этой заветной шкатулки, что всегда стояла под рукой у больших русских людей. И как остро в руках Ленина рассекало вражескую уловку отточенное грибоедовское лезвие.

Вот он призывает «идти своим, революционным путём, не оглядываясь на то, что будет говорить кадетская Марья Алексеевна», или рекомендует «социал-демократам, которые действительно стоят на стороне революционного пролетариата... поставить вопрос: А судьи кто?». Стремясь отмежеваться от чуждых явлений политической жизни, он многократно применяет видоизменённую формулу Чацкого — «есть тьма искусствников; я не из их числа». Свой разгром многих политических прохвостов он обостряет фразой «шёл в комнату, попал в другую». Он иронически отмечает «умеренность и аккуратность» Струве, Бензинга, октябристов, ревизионистов, «эсеровских меньшевиков»... Образы Фамусова и Молчалина, Скалозуба, Лизы и Репетилова — все проходят в статьях и речах Ленина. И если великий вождь в остройней схватке за грядущее счастье мира пригоршнями берёт образы из произведения, как солдат патроны из подсумка, это ли не бессмертье для его автора?

Нам легче говорить сегодня о трагедии одиночества большого критического ума, чем о точных обстоятельствах, при которых зерно горькой тогдашней русской

правды упало в душу Грибоедова. Много пробелов в его творческой биографии: как бы в вечерней дымке предстаёт перед нами этот человек... С тех пор бессчтно созревал этот колос и в свою очередь осеменял почву вокруг себя, с каждым годом расширяя площадь посева... Уже который урожай собираем мы сегодня!.. Умудрённые опытом борьбы и победы, стремясь заново постигнуть его высокие сортовые качества, мы благоговейно берём в ладонь горсть из этого урожая.

Мы вспоминаем и сравниваем с другими образцами это полновесное зерно, из которого отцы наши, в сложных примесях, творили хлеб жизни. Мы оцениваем ещё раз его совершенную форму, его классическую прозрачность, его высокую идеиную калорийность и, благодарные грибоедовской музе, снова кидаем его назад, в народную ниву, ныне очищенную от фамусовских сорняков и молчалинского плевела.

«Правда», 14 января 1945 г.

Судьба поэта

Есть свойство в человеческой природе: мы привыкаем ко всему, что ежеминутно гордой радостью должно наполнять наше сердце. Великие исторические благодеяния, самые источники жизни нашей мы от рождения принимаем за естественные дары судьбы. Мы привыкли и к солнцу... Но в мыслях отмените его на минуту, и какой холод ринется на ваши души!

Это происходит от преизбытка духовных сокровищ, которых, на протяжении тысячелетия, вдоволь внес в миро- вую культуру мой честный, трудолюбивый народ. Мы не хвастаемся, мы только напоминаем, что культура есть про- цесс живой, таинственный и хрупкий, она нуждается не только в поэтах и учёных, но и в солдатах, героях и муче- никах. Она как атолловый остров, где верхнее кольцо про- чно покоится на неподвижных нижних. Останови эту жизнь, и вмиг его поглотят ночь и волны... Мы собрались как раз в минуту, когда небывалая буря терзает челове- ческое море. Вся нечисть преисподней поднялась из безд- ны, чтоб захлестнуть солнце. Слава народу моему, кото- рый ныне, чуждый национального эгоизма, свой новый вклад в дело культуры вносит самой дорогой валютой бытия, кровью лучших своих сынов!

Человеческая культура потому и требует беспрерывного обновления, что ещё ползает зло по земле, и не ослабляют напора стихии, ветвится и множится насущная людская потребность, недостаёт ей опыта предков и ветшают знаменитые книги. Всё старится, как всё течёт. От бестелесной символики дантовских терцин до нас дошёл как бы барельефный, нуждающийся в обильных примечаниях, портрет эпохи. Не осталось губительных стрел в памфлете Дефо; каждая своевременно впилась в грудь врага, и вот пустым колчаном играют дети. Но нам дороги эти, порою пропылённые страницы, воспоминанья о юношеских днях человечества. И как бы далеко ни ушло оно по пути к своей неистребимой мечте о справедливости, на его горизонте позади вечно будет сиять, как снежной хребет, гигантский мрамор «Илиады». Такова же судьба и блистательного творенья, автора которого мы собрались почтить сегодня.

Есть книги, которые читаются; есть книги, которые изучаются терпеливыми людьми; есть книги, что хранятся в сердце нации. Мой освобождённый народ высоко оценил благородный гнев «Горя от ума» и, отправляясь в дальний и трудный путь, взял эту книгу с собою... Но великие не нуждаются в лести, и для писателя было бы нечестным в отношении учителя утверждать значение его комедии в том, что образы её в прежней молодости живут до сегодня. На расстоянии века, полного в нашей стране событий всемирного значения, неминуемо должен был измениться и облик грибоедовского произведения, как изменилось всё с тех пор. Не та стала Россия, перешагнувшая историческую пропасть, не та Москва, не те стали мы с вами. Наш нынешний враг коварней и подлей, но скоротечнее его судьба, судьба микробы, замыслившего на прахе богатырей основать своё микробье царство. Есть и теперь свой отпечаток у Москвы, но уже не фамусовской Москвы,

музейного собрания французских модниц и вояк, бальных шаркунов и подхалимов, специалистов по дамской части и пламенных, но редких печальников об участии народной,— но Москвы новой, ещё неслыханной, первой в мире социалистической столицы и крупнейшего культурного центра. Новый герой, который ещё ждёт своих Пушкиных и Грибоедовых, народился на Москве, и, сказать правду, далеко до него Чацкому.

По горькому признанию Грибоедова, в одном из вариантов «Горя», предки наши привыкли верить с ранних лет, «что ничего нет выше немца». С тех пор мы узнали подлинную направленность германской культуры, которая не сумела укротить срамное первобытное зверство своих воспитанников. И что, в сравнении с ними, наш крепостной, столетней давности, толстый барин Фамусов со своим кустарным «забрать бы книги все да сжечь»! Даже десять Гельмгольцев или Вирховых не смогут искупить один Майданек! Как видите, за этот век мы шли вперёд, а они катились назад, и — будем справедливы — движенье их было быстрее нашего!

В стремлении помочь истории мы железом соскребли с учёной немецкой хари дешёвую краску ширпотребной цивилизации и вдруг с гадливым презрением увидели под этим тухлым мифом гестаповца Вепке из Львова, что упражняется на досуге в разрубании десятилетних отроков секирой, двурогой секирой — от темени до паха. Да и самий мир с тех пор стал умнеть, «как посравнить да посмотреть век нынешний и век минувший». Миллионами крестов история отметила ошибки на широких полях, на полях тетради этого плохого ученика. Он неизмеримо ближе теперь к заветному времени, когда, освободясь от последних рабских пут, он сможет без помехи, по слову Чацкого, «вперить в науку ум, жаждущий знаний».

«Горе от ума» предстаёт перед нами не в том виде, в

каком оно явилось перед изумлёнными современниками. Мы отмечаем классические линии совершенной драматургии, словесные богатства, предельное мастерство шахматных ходов, — они видели в ней первую, пока поэтическую программу национального развития. У нас она вызывает смех, — в них она будила ярость или совесть. Это отличное драматическое произведение, ставшее для нас наравне с «Ревизором» образцом реалистической комедии нравов, живёт сегодня уже второю молодостью... но пусть и первая молодость наших нынешних книг станет такой же яркой и сильной!

«Горе от ума» родилось на переломе двух непримириимых эпох, когда Россия и её слово ещё не пробудились от оцепенения, но уже истончилась плёнка забытья, и обрывки действительности всё чаще проникали в сознанье, мешаясь порой с узорами романтических сновидений. Силой исторических обстоятельств, после своих великих дел перед Западной Европой, Россия вынуждена была проходить школу европейских знаний, накопленных там за века монгольского — у нас — владычества. Забывчивый учитель немало и наатурой получал за учёбу и временами деспотически вмешивался в русскую жизнь. Преувеличенные дозы чисто внешнего европензма калечили нашу жизнь и парализовали гормоны собственного роста.

Вспомните, всего лет за тридцать до рождения Грибоедова русская академия посыпала Вольтеру вместе с уникальными архивными документами шубы из отборных голубых лисиц и, для наглядности, золотые медали русских царей, чтоб написал он для нас историю нашего Петра. Подумать только, что отсылку этих кладов поручили Фомонову, нашему северному Леонардо, чей сторукий гений во всех областях искусства и знания оставил по себе следы! Вот пример неуверенности общества в своих на-

циональных силах. Если сопоставить это с судьбой Радищева, также размышлявшего о Петре, наши в таких фаворах не бывали... К слову, труд этот, хоть и на иностранном языке, получился отменно плохой.

Старинный должок из Европы прибывал к нам, естественно, в иноземной духовной упаковке, к тому же дул оттуда благодетельный освободительный ветерок, — всё это накладывало властную, иногда сковывающую печать на весь строй жизни нашей дворянской верхушки, безмерно удаляя её от подавленной, чёрной крестьянской массы. Все помнят, что один из искреннейших друзей Грибоедова ставил ему в заслугу, что он хорошо говорил по-русски; знать изъяснялась на иностранных диалектах, чтоб народ не мог прочесть её мысли... Русским людям необходимо было, отвергнув дух «пустого, рабского, слепого подражанья», критически отнестись к импорту цивилизации,— им следовало своим умом и самостоятельно выработать характер своих законов и учреждений, применительно к самым основным, непоколебимым особенностям народа и его истории. Нужно было очистить нашу жизнь от золотёной шелухи иностранных влияний и благородным металлом искусства пробурить её до творческих недр народа, откуда сами собою забытые ключи сказочной живой воды.

Стихийно это понимал и сам народ. Как раз в эту пору, осознав опасность иноземного вторжения, народ русский лавиной, по-львиною ринулся через всю Европу. Но могучие руки, придавившие Наполеона в его берлоге, не смогли порвать николаевские цепи. Не было ни плана, ни вожаков; были только порох без пушек, да песня без слов. Российская словесность, в меру сил и пока без широкого охвата, отражала действительность верхнего слоя: не было в этой словесности громового, после Радищева, голоса, способного пробудить страну и язык русский от затянув-

шейся национальной немоты. Страна томительно ждала Пушкина и, может быть, — в особенности, — Грибоедова.

Он пришёл из той самой среды дворянства, которое ему предстояло осудить и на которое опирался первый, верховный помещик империи. Грибоедов хорошо знал это сословие, только его и знал он; даже из окна фамусовского дома не видна подъяремная нищая Россия. У автора «Горя» не было своей Орины Родионовны. Грибоедовская комедия оказалась миной могучей взрывной силы и многократного действия, заложенной в фундамент крепостнического общества, — в наши военные дни это солдатское сравненье есть высшая хвала поэту. Естественно, что значение и место её в русской жизни сразу угадали николаевские миноискатели. Перед читателем народным она появилась лишь годы спустя, когда Грибоедова уже закопали на горе Давида, над городом, который он так любил. Первый полный текст её появился лишь сорок шесть лет спустя — вот как они боялись Грибоедова!

Первый тираж «Горя» был размножен не на типографских станках, но руками патриотов, и можно представить, как обжигали сердце эти рукописные листки, как взрывалось впоследствии на сцене это глубоко поэтическое и, словесно, даже сдержанное произведение. Злое пламя грибоедовского сарказма ворвалось в сотни помещичьих гостиных в тот момент, когда, опочив от недавних военных трудов, Фамусовы благодушествовали со своим Сергеем Сергеичем. Страшный зверообразный лик глянул на них со страниц комедии, и вот одни плевались в это правдивое зеркало, другие виновато опускали глаза, потому что узнали себя и присных своих.

Одновременно с ликованием друзей, как чёрные клубы дыма, поднялась ябода, брань, клевета, доносы и сама всемогущая зависть, это подпольное восхищение неудачников. По разноречивым взволнованным отзывам современ-

ников можно судить о силе удара. И сам Белинский дрогнул; умев даже ошибаться страстно, этот человек вначале страстно не понял Чацкого.

То была суматоха крупнейшего общественного скандала. Комедию тем яростней терзали цензоры, чем громче рукоплескала ей прогрессивная часть обеих столиц, — её взвешивали на весах трёх классических единств, и все стремились определить, кто же он таков, господин Чацкий, осмелившийся поджечь уютный и гостепримный фамусовский дом, и кто надоумил его на этот неблаговидный поступок? На протяжении десятилетий дотошные литературные следователи искали в мировой литературе его родню и сообщников, придираясь к похожим ситуациям и строчкам, и выяснили под конец, что он пошёл от мольеровского Альцеста и Демокрита, из виландовских «Абдегитов», от вольтеровского Танкреда и грессетовского Клеона, от шекспировских — двух сразу — Тимона Афинского и Гамлета, от шиллеровского маркиза Позы и данковского — чорт знает кого!.. Плохая критика всегда предпочитает подбирать старые готовые ярлыки, нежели выдумывать новые обозначения явлений, на что приходится тратить, конечно, бесценные соки спинно-головного мозга. Более серьёзных критиков занимало, чего больше в Чацком — и, следовательно, в духовном отце его, Грибоедове, — славянофила или декабриста, либерала или патриота.

Для нас, нынешних, Чацкий был прежде всего русским человеком, осознавшим не только свою национальную самостоятельность, но и её высокие нравственные задачи. Это был молодой русский человек, как мы являемся сегодня, вне зависимости от возраста, молодыми советскими людьми: человеческий прогресс всегда был двигателем, горючим которому служит молодость. «Горе» не было для России ни набатом, ни сигналом боевой трубы,

по которому на богатырскую схватку с народной бедою встают исполины родной земли... Но кто решится потребовать большего от этих зачинателей и одиночек? Герцену было 12, когда появилось «Горе». Чернышевский рождается пять лет спустя, и почти астрономическое, в полвека, расстояние отделяет эту эпоху от Ленина. «Горе от ума» было криком среди полной ночи,—криком, что гадко и подло жить в обществе, где людей меняют на собак и где стыдятся назвать себя русскими из опасения смеяться с народом.

Успех этой книги широчайшего общественного анализа был бы немыслим, если бы высоким идеяным качествам не соответствовали такие же литературные достоинства. Её архитектура совершенна. Она исполнена отличным, крыловского басенного склада и пушкинской выразительности стихом. Такой краткости, когда портрет рисуется с полурепликами, у нас не достигал почти никто. Мы с детства прибегаем к формулировкам комедии для определения житейских положений. Сам Ленин неоднократно пользовался разящим грибоедовским словом в знаменитых битвах со своими и — нашими политическими противниками.

Значение гениального произведения проступает по мере того, как проверяется годами его обширная, в родной почве, корневая система. И если ни ленивое забренье потомков, ни бури века не могут заглушить его, и свежие отпрыски бегут от ствола, и молодость собирается, как сегодня, под его старые ветви, — такое произведение само повышает уровень родного искусства, оно способно статьым своим, испытанным хмелем будоражить новые, ещё не созревшие идеи, с его вершин открываются более широкие горизонты национального бытия. Пусть множится в наших мальчишках задиристый и увлекающий вперёд патриотизм Чацкого! О, если бы не

было своевременно Чацких у нас, где коротали бы мы этот вечер? Может быть, на краю света в дымных чумах, и огарок стеариновой свечи казался бы нам чудом цивилизации!

За минувшие сто лет эта книга впитывалась в кровь и разум воспитанных ею поколений. За малым исключением на ней пробовали зрелость мысли все русские писатели. Сотни прославленных наших актёров и критиков, художников и режиссёров прикладывали к ней, как к святыне, свои толкование и мастерство, и те становились тоньше и глубже, превращаясь во всесветно знаменитое волшебство нашего искусства. Оно учило вражде к национальному застою, презрению к социальным порокам, гадливости к любой душевной грязи. Со школьной скамьи нас обжигала эта честная, без униженности и лести, преданность России: русское Грибоедов любил беззаветной, бесчестной любовью, и даже наивная его привязанность к старой русской одежде имеет особое место в его духовной биографии. Вот он возвращается осенью 19-го года из Тавриза, и пыльный отряд его шагает рядом и поёт песню — «Солдатская душечка, задушевный друг...», и слёзы навёртываются на глаза Грибоедова: родина!

Но старый ворон, любитель мёртвой кости, Аракчеев тоже был русский и, может быть, тоже любил её по-своему. Иезуитская штучка Растворин также родился в России. Шишков, президент николаевской академии, провозгласивший школы очагами разврата, был тоже русский, сам архимандрит Фотий, обязанный Пушкину своей посмертной славой, не принял бы его за «инородца». Но в то время как эти реакционные современники и даже поэты содрогались перед словом «народ» или пользовались им ради лёгкой рифмы, стремились заковать его в живописный и ржавый панцирь прошлого, Грибоедов, подобно дебристам, в русской старине и в наследии предков искал

прежде всего величия и доблести духа как примеров для подвигов в настоящем.

Так, значит, разная бывает любовь к родине: иная заключается в том, чтобы не допустить её до творческих мук возрождения, которые ей исторически необходимо пережить. Значит, та любовь прогрессивна, что ведёт нацию вперёд, а не цепляется плачевно за ноги, волоча назад в девственную древность, где её одолеет любой трёхнедельный удалец, искатель лёгкой добычи. И как Грибоедов воевал против тех, кто хотел, «чтобы отечество наше осталось в вечном младенчестве»!

Представляет особый интерес бегло пробежать по рабочим тетрадям Грибоедова, порою — распаханным творческим полям, куда оставалось лишь бросить семена сюжета. Как пример целеустремлённости автора стоит напомнить первую же заметку из петровской эпохи об одном, по тогдашнему говоря, — «инородце», который по возвращении из чужих краёв был пожалован Петром в офицеры, а его господин — в матросы; тот же крепостной раб дослужился потом до контр-адмиральского чина. Или — замысел драмы «1812-й год», где ополченец крепостной, совершив в войне всё надлежащее герою, возвращается под палку господина и накладывает на себя руки. Его «дезидерата» и путевые заметки дают право заключить о глубине грибоедовских познаний. Помимо литературных произведений, он оставил нам и критические статьи, и музыкальные сочинения, и государственные проекты. Он говорил, что совестно читать Шекспира в переводе. Но кроме английского и персидского, необходимого ему по его дипломатической работе, он свободно владел другими главнейшими европейскими языками, читал по-латыни, изучал арабский и санскритский, а по-турецки занимался с Муравьёвым-Карским, самым недобрым из всех, оставивших воспоминания о Грибоедове. Образованней-

ший человек века, он собственным примером подтверждал свою приписку к письму к Шаховскому — «чем просвещённее человек, тем полезнее он отечеству». Он как бы говорит нам, своим литературным наследникам, — «вы, нынешние, ну-тка!»

Попробуем нарисовать, как он представляется нам сквозь дымку почти полутора столетий. В год его смерти наш великолепный гравёр Уткин сделал по рисунку Ривароля портрет Грибоедова. Мне кажется, что этот простой, тонированный серым гравюрный лист более соответствует облику писателя, чем раскрашенный впоследствии Крамским борлевский рисунок. Александр Сергеевич Грибоедов освещён здесь слабым, как бы темничным светом тогдашней России. В очках, с пристальным взором исследователя — не на литератора похож он, а скорее на врача, стоящего у изголовья России. К этой поре относится его признанье Бегичеву: «комедии я больше не пишу, весёлость моя исчезла». По отзывам современников, обворожительный собеседник, он был опасный противник в споре. Холодное и меткое остроумие уживалось с отзывчивым, даже чувствительным сердцем, — и вот мы приближаемся к главному, что предстоит выяснить нам. — В 23-м году он жалуется Кюхельбекеру на душу свою — «для неё ничего нет чужого, — страдает болезнью близкого, кипит при слухе о чём-нибудь бедствии». Кроме близких, об этом не подозревал никто. Внешне он был всегда замкнут, как раковина. И, может быть, поэтому в ней вызрела лишь одна жемчужина.

За 15 лет он написал около 30 произведений, некоторые — в сообществе с талантливыми друзьями. В ту пору этот вид деятельности вряд ли сам он считал для себя главнейшим. На стихах его часто лежит печать пресловутого шишковского корнесловия. В драме «1812-й год» наравне с живыми должны были действовать некоторые

«усопшие исполины», а в «Грузинской ночи», последием даре грибоедовской музы, также тайные духи производят всякие сомнительные поступки. Петербургские друзья, захлёбываясь, твердили автору, что «Горе» только разбег к этому гениальному творению, но сам Грибоедов молчал, понимая, что они аплодировали не литературе, а Анне 2-й степени с алмазами, что украшала к тому времени грудь поэта. Так случается иногда с друзьями.

«Горе от ума», как гора, возвышается над остальным наследием Грибоедова. Не будь его, в примечании к истории литературы было бы кратко сказано, что это был выдающийся русский дипломат, который в молодости не чуждался поэзии. То был писатель одной темы, однолюб, человек, горевший в одно пламя, как рождаются люди об одной ране в душе, вне зависимости — ранена она мечтой, любовью или другим смертельным недугом... Пушкин со своей плеядой, как весёлое созвездие, ворвался в тёмное небо николаевской зимы, — Грибоедов вошёл как бы в сумерках; сквозь них не различить какие-то самые существенные черты его биографии, и оттого каждый волен по-своему заполнять эти пробелы.

Думается, какая-то ужасная подробность, какими изобиловали будни крепостнической семьи, в раннем детстве хлестнула по чуткому сердцу мальчика Александра. И ни-что впоследствии — ни гусарские развлеченья, ни цепительная тишина гор караказских — не могло заживить эту мимолётную царапину. Может быть, это случилось по выходе из армии, в один из приездов в Москву. Как нам известно, близ этого времени мать его, костромская помещица, очень нехорошо поступила со своими крепостными рабами. Неспроста лучшее, что исходило из-под грибоедовского пера, включая гордое, почти пушкинское:

Покорный времени и вкусу,
Я презираю слово: раб, —

Меня и взяли... в главный штаб —
И потянули к Иисусу —

относится к этой теме. Значит, лишь одна мелодия его души, как таинственный нектар, привлекала его музу, — не потому, что была капризна или жалостлива, а потому, что была умна. Может быть, глубже своих современников Грибоедов видел, насколько крепостные цепи мешают России осуществить её исторические предназначения. Все, включая Пушкина и помянутого Муравьёва-Карского, отмечали выдающийся ум Грибоедова.

О всяком авторе одной знаменитой книги можно написать книгу столь же знаменитую. Создатель единственного и вполне зрелого произведения сам по себе является литературной проблемой. Не по поводу ли отсутствия такой книги и сказал Пушкин, встретив мёртвого Грибоедова на перевале: «Мы ленивы и нелюбопытны». Личная трагедия Грибоедова заключалась в силе его прогрессивного ума, вынужденного прятаться в «уединенья уголок». Если Пушкин писал жене: «Чорт догадал меня родиться в России с душой и талантом», Грибоедов сказал бы — «с талантом и умом». Мне кажется, Пушкину было легче: он целиком растворялся в поэтической стихии, он был, как Мидас — всё обращалось в золото, к чему ни прикасалось его перо. Не кастальских источников, не лёгкого хмеля поэзии, но чёрного хлеба насущной жизни искала грибоедовская муз. Взрывчатый ум одного стоил пленительной души другого. В этом заключалась их разница — при гениальности обеих этих стихий. Оба Александры Сергеевичи, они стояли во главе века, оба имели лучших друзей среди декабристов, оба были нужны им, как порох и песня.

Ленин привёл блестательную герценовскую характеристику декабристов. Это «богатыри, кованные из чистой

стали с головы до ног, воины-подвижники, вышедшие со-
значательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жиз-
ни молодое поколение». История их известна, но не до-
шли до нас документы, рисующие степень участия Грибоед-
ова в заговоре. Бумага любит гореть, и, верно, чёрный
снег шёл над русскими столицами после того, как царь с
коня крикнул России — «на колени!»

Уже у Рылеева слышатся нотки обречённости, но лишь
Грибоедов понимал, что «радикальные потребны тут ле-
карства» и не словесным горчичником Чацкого можно
растопить вековой лёд России. Романтика оторвала этих
благородных и смелых русских людей, декабристов, от
земли и отлилась от них антеева сила. Даже языка об-
щего не было у них с народом. Обращения к войскам они
подписывали словами — «единоземец», «любитель отече-
ства», « сострадатель несчастным», — до обидности пере-
водные, не народные слова. Стоит только представить
Чацкого в роли агитатора в чадной вологодской избе, у
лучинушки, где бабки наши ткут километры холста на
местную Салтычиху!

Отсюда рождаются молчание и задумчивость Грибоедо-
ва после написания «Горя». В самом деле, не смерть же
Шереметева на дуэли так повлияла на него, как говорят
современники, — того самого Шереметева, что жил, как
трутень, лез в драку, как комар, и помер безболезненно,
как муха. В эту пору Грибоедов тревожно чувствует дви-
жение времени. Фигуры уже расставлены для неравной
игры, и скоро умрёт Александр в Таганроге, и уже свита
та верёвка, которую палач разрежет на пять братских кус-
ков. Вот фразы из его писем того периода: «Мне невесело,
скучно, отвратительно, несносно!.. ожидают от меня, чего
я может быть не в силах исполнить... Пора умереть! Не
знаю, отчего это так долго тянется... Подай совет, чем
мне избавить себя от сумасшествия или пистолета...» И

правда, зачем ему нужно впоследствии гулять под пулями, о чём Паскевич сообщал его матери, или выдержать на себе сотню выстрелов вражеских батарей?.. Его сомненья оправдались; народ, который, держа топор в одной руке, пятьюдесятью миллионами других рук мог бы по песчинке разнести Зимний дворец, — этот народ безмолвствовал на рассвете 13 июля 1826 года. Он не знал.

И тогда родились у Грибоедова эти горькие, разочарованные строки: «Каким чёрным волшеством сделались мы чужие между своими! Иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие... конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племён, которые не успели ещё перемешаться обычаями и нравами».

Всю последующую жизнь Грибоедов помнил глаза товарищев, уходивших в атаку. Молчал и помнил, как помнил и молчал Николай. Царю неинтересно было, стояло ли имя Грибоедова в декабристских списках, ему важнее было знать, где находился бы поэт, если бы дворцовый переворот осуществился. Убить Грибоедова, как и Пушкина, сразу он не посмел: негоже русскому царю на глазах у россиян отнимать русских гениев у России. Но он заковал его в чины и ордена, и он сослал его в таком виде. Только эта вторая поездка в Персию, в которой писатель трагически предвидел свой конец, была особой ссылкой, когда ссылочный является начальником собственного конвоя. К прежней грибоедовской маске сдержанности присоединилась сановная солидность, даже грозность в дипломатических переговорах... но как униженно и напрасно молит он Паскевича об опальных друзьях, припадая к генеральской руке. Последняя вспышка, дружба века!.. Муза его молчит, он нем, как гроб, по его признанию. «Потружусь за царя, чтобы было чем детей кормить», — вот

последняя, неразгаданная Булгариным, самая злая фраза его жизни. Здесь начинается другой Грибоедов, мудрый дипломат и государственный деятель, каких, на наше счастье, немало было у России.

Он уже «не похож на себя на прежнего, на прошлогоднего, на вчерашнего даже». Живи он ещё сотню лет, он написал бы лишь улучшенную редакцию «Горя», — улучшенную в отношении Софии, в которую было несправедливо брошено столько камней, включая пушкинский, — Софью, ровесницу Татьяны Лариной, Наташи Ростовой и «русских женщин» Некрасова!.. Пламя ещё не ушло из сердца, но теперь оно будет теплиться долго, терпеливо, экономно. Когда звезда гаснет, на ней рождаются цветы и дети. Хлопота за свойственника перед Паскевичем, он прячется в свою же фразу — «как станешь представлять к крестышку ли, к mestечку, ну как не порадеть родному чловечку». Что ж, «пора бы дальше речь завести о генеральше!» И вот он стоит под венцом с Ниной, дочерью знаменитого грузинского писателя Чавчавадзе. Её детская любовь была самым дорогим венком в его прижизненной неполной славе. Спасибо Грузии, спасибо Нине за нашего Грибоедова. Отсюда пошла старинная кровная связь литератур грузинской и русской! Потом отъезд. На границе его встречает чума... Четыре месяца спустя история рукой убийц опускает занавес над этим сверкающим явлением русской мысли.

Затем Грибоедов возвращается на родину. Вот как возвращается на родину Грибоедов: «Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. — Откуда вы? — спросил я их. — Из Тегерана. — Что вы везёте? — Грибоеда. Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис» Во всей мировой литературе нет для нас строк печальней этих. Без слёз нельзя себе представить обстоятельства по-

следнего свиданья поэта с Ниной, — как шумело пламя факелов, царапая обступившую ночь, как билась при этом на длинном чёрном ящике грузинская девочка-вдова, русская женщина Нина Грибоедова.

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской», — на-чертала она на могильном камне мужа.

Все ищут своего счастья в мире. Грибоедов пренебрёг им. В эпохи, когда открываются новые горизонты, ум и маленькое обывательское счастье несовместимы. Гений живёт дальше пределов, до которых может дотянуться его рука. Его единственное удовлетворение — в сознании выполненного долга... Но если, по его примеру, долг этот выполняется одновременно всем народом, и нет в его организме ни одной не напряжённой мышцы, как в разуме— праздной мысли, тогда иное, великансое, коллективное счастье нисходит в эту благословенную страну. Вот враческое железо коснулось нашего сердца, и пламя рванулось из раны, и горе тому, кто встал на его пути! Оглянитесь на себя: победная гордость, которая ныне живёт в вас, не есть ли оболочка истинного счастья?

Привычные ко всему, мы забываем, что деяния великих, как паруса, ведут наш корабль вперёд. И только на грозовом ветру испытаний мы постигаем, что означает для нас их утрата. Так было с нами в чёрную осень 41-го года, когда с предельной остротой, родившей наши зрелость и могущество, мы поняли, что значит для нас Москва и революция, культура и Сталин, чьё имя стало нынче всемирным паролем победы над фашизмом. Мы привыкли к мысли, что есть у нас Грибоедов, и мир привык, что щедра была от века на великих наша земля.

Но близок день, когда человечество по-новому взглянет на историю русской мысли. Оно захочет узнать, откуда же взялась освободительная сила людей, которые избавили

его от смертельнейшего из недугов. Благодарное и изумлённое, закинув голову, оно ещё раз взглядится в лица Ленина и Пушкина, Грибоедова и Толстого, освещённые зарёй нового утра. И тогда всё, что есть честного в мире, земно поклонится вам, духовные предки советского солдата, который нынче собственной кровью намечает дорогу честнейшему сталинскому гуманизму!

Доклад, прочитанный на торжественном заседании в Большом театре по случаю 150-летия со дня рождения А. С. Грибоедова, 15 января 1945 года.

Утро победы

Германия рассечена. Зло локализовано. Война подыхает.

Она подыхает в том самом немецком райхе, который выпустил её на погибель мира. Она корчится и в муках грызёт чрево, её породившее. Нет зрелица срамней и поучительней: дочь пожирает родную мать. Это—всемедие.

Почти полтора десятка лет сряду обыватель Германии помогал гитлеровским империалистам растить гигантскую человеко-жабу, фашизм. Над ней шептали тысячелетние заклинанья, ей холили когти, поили доотвала соками прусской души. Когда жаба подросла, её вывели из норы на белый вольный свет. В полной тишине она обвела мутным зраком затихшие пространства Центральной Европы. О, у ада взор человечней и мягче! Было и тогда ещё не поздно придушить гадёнка: четыре миллиарда людских рук горы расплющат, объединяясь. Случилось иначе. Вдовы и сироты до гроба будут помнить имя проклятого баварского города, где малодушные пали на колени перед скотской гордыней фашизма.

Сытый, лоснящийся после первых удач, зверь стоял посреди сплошной кровавой лужи, что растекалась на месте нарядных, благоустроенных государств. Он высматри-

вал очередную жертву. Вдруг он обернулся на восток и ринулся во глубину России — оплота добра и правды на земле... Как бы привиденья с Брокена двинулись по нашей разнице, не щадя ни красоты наших городов, ни древности святынь, ни даже невинности малюток,— самые избы, цветы и рощи наши казнили они огнём лишь за то, что это славянское, русское, советское добро. Плохо пришлось бы нам, кабы не песенная живая вода нашей веры в вожделенное и в своё историческое призвание.

Перед последней атакой, когда в орудийные прицельы с обеих сторон уже видно содрогающееся сердце фашистской Германии, полезно припомнить и последующий ход войны. Мои современники помнят первый истошный вопль зверя, когда наши смельчаки вырвали из него пробный клок мяса под Москвой. Они не забыли также и легендарный бой на Волге, о каждом дне которого будет написана книга, подобная Илиаде. Эта священная русская река стала тогда заветной жилочкой человечества, перекусив которую зверь стал бы почти непобедимым. С дырой в боку, он был ещё свеж, нахрапист, прочен; боль удесятеряла его ярость, он скакал и бесновался; когда он поднялся на дыбки для решающего прыжка — через оазисы Казахстана — в райские дебри Индии, Россия вогнала ему под вздох, туда, как в ножны, рогатину своей старинной доблести и непревзойдённой военной техники. Хотя до рассвета было ещё далеко, человечество впервые улыбнулось сквозь слёзы... О дальнейшем, как совместно с могущественными друзьями преследовали и клочили подбитую гадину, пространно доскажет история.

Нам было тяжко. Наши братья качались в петлях над Одером; наши сёстры и невесты горше Ярославен плакали в немецком полоне,— мы дрались в полную ярость. Мы не смели умирать; весь народ, от Первого маршала до бойца, от наркома до курьерши, понимал, какая ночь на-

ступит на земле, если мы не устоим. Даже на обычную честную усталость, какую знает и железо, не имели мы права. О, неизвестно, в каком из океанов — или во всех пяти сразу! — отражалась бы сейчас морда зверя с квадратными усиками и юркими рысыми ноздрями, если бы хоть на мгновение мы усомнились в победе. Всё это не похвальба. Никто не сможет отнять величие подвига у наших бескорыстных героев, ничего не требующих за свой неоплатный смертный труд — кроме справедливости. Мы поднимаем голос лишь потому, что, к стыду человеческой породы, кое-кто в зарубежных подворотнях уже высказывает шершавый свой язык на защиту палачей.

Из безопасных убежищ они смотрят в предсмертные потёмы Германии и в каждой мелочи с содроганием видят приближение собственного скорого и неизбежного конца. Грабленое золото, горючее для будущих злодейств, уже перекачивается в надёжные нейтральные тайники; уже гаулейтеры примеряют на себя перед зеркалом вдовы и рожи; вчерашние упыри репетируют вполголоса лебединые арии под названием «гитлеркапут». Наверно, в эту самую минуту где-нибудь в стерильном подземельи придворные мастера пластических операций перекраивают под местной анестезией личности Адольфа Гитлера и его портативной говорильной обезьянки, душки Риббентропа и долговязого трупоеда Гиммлера. Мы отлично понимаем, что обозначает «сердечное заболевание» Германа Геринга, но трудновато будет выкроить из этого борова даже среднего качества мадонну! Им очень желательно ускользнуть неузнанными от судей... Вряд ли все эти эрзац-человеки, ненавидимые даже в собственной стране, сами и добровольно уйдут из жизни. Нет, этим далеко даже до ихнего Фридриха, который после успехов конфедерации лишь пытался наложить на себя руки. Этих придётся вешать... Но до самой удавки они будут рассчитывать, что найдётся бесчестный или ротозей, который выронит из

своих уст слово пощада, если поскулить поплачевней. Вот ход их мыслей: «Ну, и побают немножко для приличия, даже посекут публично на глазах у Германии, крепко—до вывиха в шее—дадут разок-другой по сусалам, даже могут непоправимо попортить внешность... и отпустят. Э, дескать, нам с лица не воду пить, а при наличии капитолов можно существовать и с несколько несимметричной наружностью...»

Здесь требуется грубое слово, суровое и разящее, как взгляд солдата, что дерётся сейчас за разум, честь и красоту на пылающих руинах Унтер-ден-Линден. — Неудивительно видеть в кучке непрошенных добряков и плачальщиков такое лающее четвероногое, как журналист Ялчин. Есть такие преданные псы, что скулят и грызутся, когда секут их хозяина: помнит собачья душонка сладкий кусок мясца!.. Понятны так же причины, по каким забыл про Ковентри и Лондон семидесятилетний Брейльсфорд, предлагающий лечить гестаповцев настоем из маргариток и путешествиями ко святым местам. И вообще-то слаб человек, а этот, вдобавок, женился недавно на молодой и сочной фрау, служебный номер которой нам пока неизвестен. Ничего, старец одумается, когда голенькие, с простреленными грудками, детки закружатся над ним в недалёкий смертный час. — Немудрено, равным образом, найти объяснение и знаменитому милосердию некоторых пожилых великосветских дам, вчерашних патронесс общества «противников вивисекции», — сегодняшних опекунш в отношении безусых элегантных садистов. И даже не то чтобы нравились им эти выродки с пузырчатыми водянистыми капсулами вместо глаз, а просто бывают, к стыду человеческой породы, такие милостивцы, которые единственно из сострадания хотят, чтоб скорее прикончили жертву, чтоб не кричала она, не бередила чувствительную душу раздирающим стоном о помощи. Как говорится на У́краине—«Не мучьтесь, куме, опускайтесь на дно!» Бес-

сильные сами бороться со злом или устрашённые им, потому что у зла длинные руки, они вышибают честный штык из рук своего солдата, хватают за ноги бегущего в последнюю атаку, и вот тот падает с дыркой во лбу, защитник угнетённых и гордость своей родины. Их высшая заповедь — не раздражать убийцу в действии... Что ж, ничего нового под луною в этой области. Император Юлиан, к примеру, был настолько милостив, что впускал вошь себе в бороду, когда она сваливалась с его головы.

Мы вовсе не упоминаем о так называемых — «деловых кругах», которые по отдалённости местожительства не успели ещё познать на собственном опыте ни — что такое нацизм, ни — что такое зверообразный его пророк. Их дети целы, их бизнес процветает. И если бы Гитлеру удалось, наконец, истребить полностью весь род людской, они скорбели бы лишь об утрате столь обширного покупательского контингента. Пусть! Даже когда отомрёт звериный хвост у человечества, всё же останутся в порах земли мицробы и алчности, и недоумия, и похоти... Планету не вскипятишь! Но в этой толпе доброхотных пахарей милосердия выделяется своей патриархальной сединой сам римский первосвященник... только этот работает втихую! Видимо, какая-то малоизвестная заповедь или догмат руководят поступками святейшего отца. Ввиду того, что, по слову Григория Великого, папа есть не только «консул всесвирца», но и «раб рабов божьих», мы обращаемся к нему с простодушной просьбой рассказать вслух, на виду у всего христианского мира, как он вступался за наших братьев и сестёр, когда их пришивали пулемётными очередями к мёрзлой земле, травили «циклоном», оскопляли в застенках, пластовали и выкачивали кровь на мраморных столах, закапывали живьём, распинали, истребляли голодом и сумасшествием, изготавливали из них удобрение для мавританских лужаек, кроили абажуры и подтяжки из их ещё неостылой кожи. Пусть он покажет детям земли

гневные буллы к своему подопечному в Берлин, чтобы тот дощадил хотя бы крошек, которых так любил Иисус!

Их нет, мы не нашли таких посланий в гестаповских канцеляриях, где ещё не просохла безвинная кровь. Зачем же вы так нехорошо молчите, ваше святейшество? Может быть, вы не верите в злодеяния нацистов на православной Украине и в католической Польше? — Ведь чужие слёзы всегда такие неслышные, и, вдобавок, — пройдя через тончайшие фильтры просвещённого скептицизма, достигают, наверно, вашей совести в виде дистиллированной воды. Конечно, вы пребываете в безмолвии мудрости, и самая осиротевшая мать не докричится до вашего горного уединения. Тогда посетите места, где свирепствовала гитлеровская орда. Я сам, как Виргилий, проведу вас по кругам Майданека и Бабьего Яра, у которых плачут и бывалые солдаты, поправшие смерть под Сталинградом и у Киева. Вложите апостолические персты в раны моего народа, и если только с приятием чина ангельского вы не утратили облика человеческого, то — подобно Петру, подъявшему свой меч на негодяев, приведших за Иисусом, — вы поднимите свой посох, как палку, на злодеев, худших, чем даже ваши предшественники, хотя бы — мрачный убийца Балтазар Косса, осрамивший лик человеческий в качестве Иоанна XXIII, или тот Иоанн XII, что пил в своём гареме за здоровье дьявола, или знаменитый дон Родриго Борхия, которого прокляли Рим и мир под именем Александра VI.

Ах, папа, папа, загадочный пастырь, охраняющий волов от овец! Не бойтесь за Германию. Мы могли бы считать, что после содеянного вами на Востоке — нам позволено всё, но мы пришли туда не за тем, чтобы убивать женщин и детей, а чтобы уничтожить воинствующую хамскую мечту о порабощении народов чужого языка и расы. Даже не ради мщенья, а в целях санитарной профилактики мы

обойдём с оружием эту преступную страну. Нам нет нужны истреблять всех немецких дураков, поверивших своему ефрейтору, будто германская кровь дороже французской, негритянской или еврейской... Утешите же обречённых фашистских главарей, ваше святейшество, обещаньем райского блаженства после петли, а потом, когда свершится правосудие, молитесь за них, сообразно вашему досугу, — за смиренных и безопасных, навеки сокнувших свои вурдалачьи окровавленные уста!

Нет, не помилуем, не отпустим, не простим. Не предадим наших великих мертвцев — от первого солдата вольнолюбивой Америки, Франклина Рузвельта, до того неизвестного русского автомата, который лишь мгновенье назад упал с простреленным сердцем в Берлине. Гадкий спектакль фашизма кончается, и освистанным балаганщикам не помогут теперь ни молитвенные вздыханья, ни дамское заступничество, ни купеческая добродота ко всемогущему злу, доставляющему дивиденды. Мы распознаем их в любом обличье, обшарим горы, подыщем каждую песчинку в захолустьях далёких материков. И если только былое отчаянье не выжгло чувства чести у людей, они не помилуют ни дворца, ни хижин, где застигнут притихших перелицованных беглецов, — обуглят самую землю, давнишнюю им пристанище. Только так возможно обезвредить всё, чем они ещё грозятся будущим поколеньям, испуская дух. Только беспощадность к злодейству измеряется степень любви к людям. Да здравствует жалость, жалость неподкупных судей, — жалость к тем, которые ещё не родились!

Наступает желанная минута, ради которой мы четыре года бестрепетно принимали лишенья, тревоги, горечь неминуемых потерь. Борьба продолжается, предстоит ещё добить врага, но уже неправедная немецкая земля под сапогами нашими. Это утро и скоро день... Только что

соединились победоносные армии Запада и Востока, и полководцы уже обменялись мужественным рукопожатием. Завтра, впервые за много лет, воины без опаски разведут костры на привалах. Грязнул громовой капут тысячеletней бредовой немецкой мечте о надмирном владычестве... Потом пепел, смрад и вздыбленный прах медленно осядут на остывающие камни Германии, и тогда для человечества наступит слепительный полдень, который пусть никогда уже не сменится ночью! Какое отличное утро смотрит нам в лицо; как красивы и праздничны даже эти дымящиеся, с красными флагами пламени, берлинские развалины — в час, когда в них вступает Свобода!

Совесть в нас чиста. Потомки не упрекнут нас в равнодушии к их жребию. Вы хорошо поработали, тружёники добра и правды, которых Германия хотела обратить не в данников, не в рабов, даже не в безгласный человекоскот, но в навозный компост для фашистского огорода... Слава вам, повелители боя, сколько бы звёзд ни украшало ваши плечи; слава матерям, вас родившим, слава избам, которые огласил ваш первый детский крик; слава лесным тропкам, по которым бегали в детстве ваши босые ножки; слава бескрайним кивам, взрастившим ваш честный хлеб; слава чистому небу, что свободно неслось в юности над головами вашими!.. Живи вечно, мой исполинский народ, ликуй в близкий теперь день торжества великой правды, о которой в кандалах, задолго до Октября, мечтали твои отцы и деды.

Мы победили потому, что добра мы хотели ещё сильнее, чем враги наши хотели зла. Германия расплачивается за чёрный грех алчности, в который вовлекли её фюрер и его орава. Они сделали её своим стойлом, харчевней для жертвы, притоном для демагогического блуда, станком для экзекуций, плац-парадом для маньякальных шествий... Злую судьбу она готовила на века Европе и миру!

Тогда мы хлынули на неё, как море, и вот она лежит на
боку, Стаяя, раскорякая, обезумевшая.

Мы расплачиваемся с ней в полгнева, иначе одни лишь
ветер ночной плакал бы теперь на её голых стволах. Гро-
мадна сила наша — по широте нашей страны, по глубине
наших социальных стремлений, по могуществу индустрии
нашей, по величию нашего духа. История не могла посту-
пить иначе. Наше дело правое. Мы сказали. Слово наше
крепко. Аминь.

«Правда», 29 апреля 1915 г.

Весна народов

Кончилась затянувшаяся зима. Священная весна с её дарами проходит по земле. Пускай пока не в полную силу — во всём сквозит её улыбка. С каждой минутой праздничней становится на сердце, и молодеют даже старые камни на растемнённых московских улицах. Вот она, отвоёванная и возвращённая молодость!

Ещё вихрятся чёрные дымы боя, а лязг сражающегося железа глушит все остальные звуки в мире, но почему же мы различаем в них и осмелевший детский смех, и первые, ещё робкие, одуванчики по скатам снарядных воронок? Не потому ли, что всё на земле слилось в единое ликованье непобедимой жизни и раскалённые зевы наших пушек славят своими басами одну её, освободительную весну?

Через много вёсен прошли старшее и юное поколение советских отцов и детей, которые создавали наше нынешнее величие. Каждая из них была новым, незабываемым шагом к осуществлению мечты, но этот Первомай неизмеримо значительнее прочих. Он выводит нас как бы на вершину горы, откуда виден весь, лежащий как на карте, необъятный мир, его долины и реки, движение людских племён и, наконец, самая поступь истории. Отсюда мы постигаем подвиг гения, начертавшего план великих строек. Окинем же взором всё то, что вчера было достоянием его народа...

Тёплый ветер изобилия и плодородия дует нам в грудь,

а по нагорьям внизу теснятся толпы новоприобретённых друзей, завтраших братьев и соратников в устроении земных судеб. В громадном утреннем небе тают и плывут последние, разъятые на части, призраки ночи, похожие то на обмякшую тушу Муссолини, то на что-то ёщё более гнусное, чьим именем не надо сквернить блеск этой первомайской страницы. Кажется, минуло лютое сновидение, терзавшее мир последнее десятилетье...

Нет, не сновидение! Столбовая дорога побед от Сталинграда до Берлина — не сновидение, как не сне были пролиты кровь на фронтах и пот в бескрайнем всеармейском тылу. Не сном были наши разлуки и потери, о которых мы вспоминаем со стиснутыми зубами. Фашизм — тоже не сон, и не сон — братские могилы, где закопаны наши милые и скромные, такие весёлые и молодые. О, если бы был услышан в самом начале наш предстерегающий голос, из них могли бы быть созданы армии строителей и творцов, способных стократ умножить благоденствие планеты. Оно было отвергнуто, бескорыстное слово разума, и вот — щебяная окрошка из отличных столиц, погасшие заводы, где могла бы изготавляться материальная одежда духа и мысли, и, наконец, тысячи бездонно ёмких кладбищ, эти поселения мёртвых, числом которых измеряется вся низость мюнхенского преступления.

Для разумного эта весна — не просто воскрешение скованной природы, звонкий месяц молодости, май; она есть весна народов, потрясённых и оскорблённых фашизмом в своём человеческом достоинстве. Таким образом, великая премудрость опыта разлита в самом воздухе первомайского полдня, и горе той стране, которая не допустит её в себя!.. Богата дарами эта весна, но никто не подносил их нам на блюде, мы сами добыли их из кромешной тьмы, сами творили их совместно с ярким солнцем и уже настолько постигли их устройство, чтобы стать мастера-

ми собственного счастья. Бедна в часы ликований наша речь; нет в ней достаточно нежных слов, чтобы приветствовать эту весну в полную меру нашего чувства... Здравствуй же, более любимая, чем невеста, более желанная, чем рукопожатье друга, внезапно оказавшегося в живых!

Нашего праздника не омрачает сознанье, что громадная дикая свинья фашизма, шатаясь и истекая тухлой сукровицей, ещё стоит над своей ямой,—немного ей осталось жизни. Фашизм — выдумка дикаря, помесь наемного со скучным, мещанским немецким чортом, но прежде всего он всё-таки — свинья, и нынешняя Германия — её жилище. Вполне знаменательно, что, даже проклиная своего главного обер- или зондерфюрера... или, как он там называется, сын своей презрённой матери! — многие немцы клянут его не за то, что омрачил и обесчестил убийствами германское имя, а лишь за то, что, не выполнив разбойных обещаний, вовлек их в столь крупные не приятности и убытки. Видимо, надо заставить их голыми руками раскапывать страшное человеческое месиво в братских карьерах, чтобы хоть признак мысли появился в животном взоре немецкого мещанина. И если останешься в Германии мыслящие люди, они должны быть глубоко благодарны Красной Армии за то, что она через страдание возвращает их стране давно утраченную человечность. Много добротного металла всадили мы в этого кабана с обеих сторон, а он ёщё огрызается на своих загонщиков! Ничего, это недолго; ёщё разок, ёщё одна порция смерти, и он рухнет с копыт, навеки ставший падалью.

Тогда сразу оборвётся немолчный грохот битвы, и усталый боец рукавом гимнастёрки вытрет пот с лица, и умная долгожданная тишина наступит в Европе. И это будет такая тишина, что можно оглохнуть с непривычки... И, может быть, он поднимет голову и обведёт воспалён-

ными глазами безмолвную рыжую германскую землю, за-
сиянную лишь рваной сталью по весне, и усмехнётся её
заслуженному горю,— может быть: мы все одинаково не
знаем, как будет выглядеть первый миг та к о й победы.
И, может быть, он достанет из кармана нераспечатанное,
пропотелое письмо из дома и прочтёт его,— и вдруг со-
гласное множество новых, полузабытых звуков жизни, с
детства дорогих сердцу и вкрадчивых, как музыка, во-
рвётся в его сердце и уши. Он услышит, как шепчутся под
лёгким ветерком озими на его далёкой, освобождённой
им от горя родине, как горланят на первомайском при-
пёке озорные ручьи и разговаривают рощи, полные сквор-
цов и каких-то других деловитых пичуг. В самом шелесте
этой плохонькой бумаги он различит взволнованное и
благодарное дыханье своей милой... Ах, как хорошо рас-
править плечи после непомерного и опасного труда, как ве-
личественен человек со звёздочкой на окольшке фуражки,
младшей сестрёнкой громадных звёзд кремлёвских, что
в эту минуту осеняют Москву. Как красива и ты, Крас-
ная площадь, когда победа, как птица, реет над тобою,
когда на парад неторопливо вливаются в тебя колонны
ветеранов, несущих свою гвардейскую славу,— когда,
притихнув, как бы на цыпочках, непобедимые машины-
богатыри проходят мимо мавзолея, где спит наш Ленин,
и склоняются знамёна, потемневшие от пыли и гари все-ве-
личайших сражений военной истории...

Этот первомайский парад будет почти как прежние,
• только во много раз прекрасней их. И наш добрый суро-
вый Сталин будет, как раньше, стоять на трибуне среди
своих помощников в трудах державства и войны, в делах
славы и победы. Перед ним пройдут тысячи воинов, как
близнецы похожих друг на друга, но он увидит и запом-
нит лицо каждого из вас, победоносцы Советского Сою-
за,— и тебя, молоденький правофланговый в третьей ше-
ренге, и тебя, танкист в кожаном шлеме, из-под которого

выглядывает седая прядь, и тебя, математик войны, артиллерист, измеривший своими траекториями пол-Европы. И он спросит глазами каждого из вас: тебе хорошо, мой друг и любимый сын? И ты ответишь ему глазами — да! И в то мгновенье — без слёз, и тем сердечнее! — мы вспомним о вас, погибшие товарищи наши, которые когда-то пели вместе с нами, делили с нами и хлеб, и чарку, и молодой энтузиазм пятилеток, а потом так щедро и безжалобно отдали свои жизни Родине.

Неразрывна наша связь с ними. Они также примут участие в параде. И настанет посреди нашего необыкновенного торжества один миг глубокого молчания, когда тени павших героев незримо пройдут по этой прославленной площади — мерным маршевым шагом, промчаться нарысях или на больших скоростях атаки. И тогда солнце Первомая затмится ненадолго облачком, и как бы траурные морщинки прочертят боевые знамёна...

У советского народа бывали не однажды великанские свершенья, но такого величавого счастья победы наше поколенье ещё не испытывало никогда. Поэтому пристальнее гляди в этот день на мраморную трибуну мавзолея, и если душа твоя исполнена веры в свой народ, ты увидишь живого Ленина рядом с вождём. Смотри, он стоит живой рядом со своим другом и продолжателем великого дела — Ленин, Ленин, Ленин! — и гордая довольная улыбка за свой героический и возмужавший народ светится в зорком прищуре его глаз... Тогда в руки твои вольётся сила, достаточная, чтобы сокрушить любое горе; ты испытаешь не сравнимый ни с чем восторг единства со своей страной; ты постигнешь сам, что означает бессмертие в своём народе.

Большего счастья никогда не было на земле. Пожелаем друг другу, чтоб сердце наше выдержало такую радость!

«Правда», 1 мая 1945 г.

Русские в Берлине

В жизни моего народа не однажды бывали минуты, когда всё, и честь, и богатства дедовские, судьба ставила под удар. Пасмурным взором очередного завоевателя она глядела нам в душу. Мы достаточно повидали их, всех мастей и калибров, от Тамерлана до Наполеона, да и в передышках непрестанно звенели мечи. Откуда только не задувала непогода в открытые на все четыре стороны просторы России!.. Не видать вокруг Москвы ни бездонных океанов, ни гор снежных, и оттого легко было проникнуть к ней длинному жалу иноземной алчности. Словом, судьба не баловала нас, и в этих исторических поединках со зрело и закалилось наше национальное самосознание.

Уж сколько раз вражеский воин-вор гулял по нашим привольям и за одну лишь годину своего торжества успевал пожечь и разорить наши города и сёла, ограбить русскую казну и опозорить храмы, увести в полон связанных одной верёвкой — жену, сестрицу и любимого коня: всё ему надобилось, несътому, столапому. А через годок мы, как повелось у нас с незваными гостями, неспешно отделяли ему голову от тулова и отсылали в таком разображенном виде на родину к нему, а заодно, для верности, приходили и сами, чтоб попрочней предать земле!.. Но бывало и так, что на века утверждалась какая-нибудь злородынская сила, и тогда пустели шумные, всей Европе знакомые, рязанские торговые тракты, замолкла взятая

за горло задушевная славянская песня да, кажется, и птица переставала гнездиться на Руси, а вслед за порохом чистою кровью и самые слёзы иссыкали у народа.

Поганый — не знаемый откуда — чужак огнём и плетью выгонял из дома хозяйку и праматерь нашей земли, многострадальную русскую женщину... и она уходила в леса, приспустив платок на исплаканные очи,— осиротевшая и никогда не терявшая духа. Там селилась она в приглянувшемся старом пеньке от тысячелетнего дуба, разбитого грозой, в этакой избушке на курьих ножках,— лишь бы было отверстинце полюбоваться на белый свет. Потом проходило несчитанное время, достаточное, чтоб камень обратился в песок и заморский булат рассыпался на ржавые листочки, и уж, кажется, всё святое бывало потоптано на Руси, как вдруг расступался заветный пенёк, и вот двенадцать русых богатырей выходили из него на солнышко,— у них в плечах мачтовая сосна уляжется, от их спокойной силищи дикий зверь сломя голову бежит.

— А ну, покажь нам, родимая матушка, на которого ворога первее руку накладать?

И мы отсюда видим, какие лучистые, усмешливые, весёлые становились у старушки глаза, когда летели в бранном поле ошмётки от ворога. А как сна растяла своих сынов, какой росной водой умывала, какой живительной песней их сон баюкала — про то в сказках не сказывается: это тайна народа моего. — Так было, к примеру, в баснословные дни Мамая... Кстати, раз уж речь о том пошла, поклонимся всем миром простой русской женщине, что беззаветно и без устали, наравне с мужем и сынами, создавала наше государство, с зари и до темна трудилась в поле, рожала и выхаживала прославленных удальцов, пехотинцев и танкистов, мастеров артиллерийского и сапёрного дела, наших дерзких поднебесных летунов, которые только что сложили к ногам своего народа самый крупный трофей этой кампании — Берлин.

Война, которую мы успешно заканчиваем, существенно отличалась от всех, что за тысячу лет изведала Россия. Эта — грозила всему Советскому Союзу уже не только мукой национального бесчестья, не одной неволей или вечным рабством, даже не смертью! Она грозила нам полным небытием, — по зверству этого беспощаднейшего врага мы можем судить о его замысле. Будь его сила, он привёл бы в исполнение свою угрозу. Нет, не только злата он добивался или ещё не раскопанных в недрах сокровищ, или прочего достоянья нашего. Он сбирался омертвить не только настоящее наше и будущее, которого мы ещё не успели осуществить в полную мощь ленинской мысли, — он и славное прошлое наше намеревался истребить, обратить даже не в пепел, а в ничто, сделать так, будто никогда и ничего после палеозоя и не было на громадной русской равнине. Он искал жизненного пространства, безымянной и голой земли, которой он сам подарит пруссакое имя... Страшнейший из джихангиров Азии — как назывались там миропотрясатели не чета Адольфу — Тамерлан переселял к себе в Самарканд лучших мастеров из покорённых царств; этих же немецких воров, на которых мы стоим сегодня ногами, приводили в ярость самые звуки имён Суворова и Пушкина, Чайковского и Толстого, при упоминанье которых весь цивилизованный мир мысленно обнажает головы. — О, так грабить и выскребать нам душу никто ещё не собирался!

Тогда мы взялись за руки, как братья, и поклялись имеем Ленина притти к врагам и наказать их судом более справедливым, чем божий суд. Мы вложили в эту клятву всё, что у нас есть дорогое, и даже больше вложили мы в неё — для того, чтобы уже никак нельзя было не сдержать её. Огонь ушёл бы из наших очагов, дети наши плевали бы нам в очи, обесплодели бы наши нивы и женщины, если бы мы не исполнили своего обещания, более святого, чем материнское благословенье. Оно было короче самого

страшного проклятья и заключалось в одном лишь слове — Берлин. Мы даже не произносили его вслух, мы экопомили время и силу; нам нужна была эта столица всемирного злодейства не во утоление тщеславия, которое всегда чуждо истинному герою, но как оправдание самого нашего прихода в жизнь. И тогда мы сделались крепче гранита, ибо какая твердокаменная крепость выдержала бы тот, памятный миру, натиск под Москвой? Прочней железобетона оказалась наша вполне смертная человеческая плоть. Нам было бы радостью отдать свои жизни за Родину и Сталина — отца победы, который и сам отдал бы кровь свою за нас и за Родину, капля по капле. А с такой порукой какому горю не сломит хребта советский народ?

Замолкшие, очень строгие советские атланты в стёганых куртках, иные — женского пола или детского возраста, творили во тьме безлюдных захолустий новые гигантские кузницы победы, — ещё без кровель, но уже выпускавшие первые десятки прекраснейших, как произведение искусства, танков или дальнобойных пушек,— эти могучие свёрла особого назначения, способные прогрызать любую броню. На Цельсии бывало пятьдесят ниже ноля, а они своим теплом отогревали ещё бездушные машины; буран со свистом ходил между станков, а они слышали в нём громовый будущий салют в честь падения Берлина! Вот когда мы поняли, что человек в состоянии выполнить втрое против того, что ему приказывают, и, главное, что самый грозный приказ может дать человек себе сам.

И вот оно свершилось, клятва выполнена, Берлин пал, он под ногами нашими. О, слишком долго и надоедливо Германия стучала к нам в ворота, и мы вошли в неё в образе урагана. Нам нравится, что генералы, жёсткие и важные, как навозные жуки, наследники Мольтке и Шлиффена, сами отводят свои стотысячные гарнизоны в русский плен. Стоя перед столом нашего офицера, они выражают благоразумные суждения о непобедимости советско-

го оружия и ещё о том, что умерший Адольф Гитлер был обманщик и очень плохой человек. «Стоять на вытяжку... вы говорите с боевым советским майором, у которого ваши солдаты убили семью!»... Всё это—отличный показатель того, насколько полезен наглецу, опьяневшему от ве-ковой гордыни, хороший удар между бровей; как показывает опыт, сие освежает, сушит и трезвит.

Теперь нацистским заправилам и их присным уже не хочется ни украинского чернозёма, ни британских островов, ни колоний в тропиках; они стремятся всеми силами души куда-нибудь на островок Елены, даже просто в помещение с решёткой и казённым рационом. Они начинают заболевать сердечными приступами, умирать от кровоизлияний, а пока в качестве ответчика заранее выставляют гросс-балду в адмиральской треуголке, как силомер на ярмарках, чтобы союзные армии на нём разрядили свой гнев за Майданек и Бухенвальд, Освенцим и Дааху... Но нет, мы не поверим на слово, мы ещё пошарим в Германии, мы потребуем вещественных доказательств, что ефрейтор не превратился в оборотня. Малютки мира могут спать спокойно в своих колыбельках. Советское войско, как и войска наших западных друзей, хочет видеть труп фюрера в натуральную величину, и оно вернётся на родину не раньше, чем ветер освободительного урагана развеет в Германии фашистское зловоние. Что касается толстого Геринга, у нас имеется одно верное средство от сердечных недугов, излекивающее навсегда...

- Наши продымленные патрули шагают сейчас по Берлину, и немецкие дамочки угодливо смотрят им в глаза, готовые немедля начать выплату reparаций. Не получается! Советских людей это интересует в гораздо меньшей степени, чем пристальный осмотр берлинских чердаков, подвалов и тоннелей метро—в поисках оборотней, этого посмертного секретного оружия Германии. Мы всегда владели заветным словцом на нечистую силу... Позже, когда

Германия станет на колени перед армиями Объединённых наций, наши люди отадут дань своей старинной любознательности. Их, простых советских пахарей и слесарей, каменщиков и трактористов, давно уже тянуло посмотреть, что это за городок такой на свете, который столько лет подряд пугал присмиревшую до мюнхенской степени Западную Европу. Тогда они обойдут неторопливой экскурсией все эти государственные лаборатории германского научного зверства, осмотрят гитлеровскую канцелярию, этот бывший генеральный штаб ада, побывают в рейхстаге и вспомнят с уважением имя Димитрова, посетят известную аллею заносчивых прусских истуканов, если только пощадили её русские «катюши» и британские десятитонки. О, разумеется, с самого основания Берлин не видал ещё такого наплыва интуристов!..

Все вместе — русские, американцы и англичане — они удивляются многовековой гнусности этого города, которую так долго и совсем напрасно терпел мир. А какой-нибудь простой гвардии сержант в простреленной красноармейской фуражке присядет тут же на поваленном постаменте бывшего пронумерованного Фридриха и подробно отпишет своему мальчугану на родину про такой же бывший город Берлин, в полной мере заслуживший и наш огонь и наше презрение.

«Правда», 7 мая 1945 г.

Имя радости

Убийца на коленях. Оружие выбито из его рук. Он у ног ваших, победители. Ему хочется покоя и милосердия. Палач с вековым стажем оказывается, вдобавок, бесстыдником... Судите его, люди, по всем статьям своего высокого закона!

Никто не спал в эту ночь. В рассветном небе летают самолёты с фонариками. Старуха, солдатская мать, обнимает смущённого милиционера. Две девушки идут и плачут, обнявшись. Ещё неизведанным волнением доотказа переполнена вселенная, и кажется, что даже солнцу тесно в ней. Трудно дышать, как на вершине горы... Так выглядел первый день Победы. Две весны слились в одну, и поэтам не дано найти слово для её обозначенья. Мы вообще ещё не способны сегодня охватить разумом весь смысл происшедшего события. Мы были храбры и справедливы в прошлом,— эти битвы принесли нам зрелость для будущего. Мало притти в землю обетованную, надо ещё распахать целину, построить дома на ней и оградить себя от зверя. Мы совершили всё это, первые поселенцы в стране немеркнущего счастья. Лишь с годами возможно будет постигнуть суровое величие прожитых дней, смертельность отгремевших боёв, всю глубину вашего трудового подвига, незаметные труженики Советского Союза, не уместившиеся ни в песнях, ни в обширных наградных списках: так много вас! Если доныне празднуются Пол-

тава и Поле Куликово, на сколько же веков хватит им-
нешней нашей радости? Только она выразится потом не
в торжественных сверканьях оркестров, не в радугах са-
лютов, а в спокойном вещественном преображении стра-
ны, в цветеньи духовной жизни, в долголетии старости,
в красоте быта, в творчестве инженеров и художников,
садоводов и зодчих. Немыслимо в одно поколение со-
брать урожай такой победы.

Советские люди сеяли её долго; каждое зёрышко бы-
ло опущено в почву заботливой и терпеливой рукой. В
зимние ночи они своей улыбкой грели её первые всходы,
они берегли их от плеса и летучего гада, и вот под
сенью первого ветвистого и плодоносного дерева сбира-
ются на пиршество воины и кузнецы оружья. Они запев-
вают песню новой, мирной эры, и если только человече-
ство сохранит мудрость, приобретённую в войне, как оно
стремится сберечь боевую дружбу, этой величавой запев-
ке подтянут все... а песня — как братский кубок, она
сроднит народы на века! Какой нескончаемый праздник
предстоит людям, если они не позволят подлым изгадить
его в самом зародыше. Давайте мечтать и сообща глядеть
за горизонты грядущего столетия,— отныне это тоже
становится умной и действенной работой. Мечтой мы по-
бедили тех, у кого её не было вовсе: было бы кощунством
считать за мечту замысел всеобщего оскотения.

Итак, пусть это будет гордый и честный, благоустроен-
ный и строгий мир, в котором новые святыни воздвигнут-
ся по лицу земли, взамен разрушенных варварством,
потому что святыни — постоянное выделение живого че-
ловеческого духа. Молодые люди, созревшие для творче-
ства жизни, отныне не будут корчиться на колючей про-
воловке концлагерей. На планете станут жить только ма-
стера вещей и мысли, подмастерья и их ученики; много-
образен труд, и только руки мертвеца не умеют ничего.
Стихи станут служанками человека, а недра гор — его

кладовыми, а ночное небо — упомятельной книгой само-
познания, которую он будет читать с листа и без опаски
получить за это нож между лопаток. Красота придёт в
мир, та самая красота, за которую бились герои и кото-
рую люди иногда стыдятся называть, ибо наивно звучит
всякая вслух высказанная мечта. Но теперь эта мечта
гением Ленина и Сталина возведена в степень точной
науки и, кроме того, если не этой, то какой иною путевод-
ной звездой руководиться вселеновеческому кораблю в
его великих океанских странствиях? Только безумец или
наследственный тунеядец, питающийся людским горем,
смеет утверждать, что люди не доросли до такого сча-
стья, что им приличней начинать свою жизнь в бомбоубе-
жищах и кончать её в братских могилах,— что кровавое
рубище и рабская мука совершают добродетели и
умственные способности человечества.

Люди хотят жить иначе, их воля переносит в действие,
новая пора уже настает, и это так же верно, как то, что
мы живём и побеждаем. Мы родились не для войны, и
когда мы берёмся за меч, то не для упражнения в чело-
векоубийстве, не ради весёлой игры в Аттилу, какою сде-
лали войну германские фашисты. Мы люди простые, ра-
бочие. Война для нас — почётный, но тяжкий и опасный
труд, не разделимый с другой, не менее сложной и нуж-
ной работой возмездия. Иначе к чему была бы такая сви-
репая трагедия, где каждый акт длился по году, где боль
и ужас были настоящие, где принимало участие всё на-
селение земного шара? Мы приступаем к делу воздаяния
без злорадства и с полной ответственностью перед по-
томками. Наш народ сливёт образцом великодушия и
доброты, но великодушные добрых он полагает сегодня в
непримиримости к злым... Пусть невинные отойдут к сто-
ронке. Благословенна рука, подъятая покарать преступ-
ление.

Мысленно мы проходим по осквернённой Европе. Нет

в ней ни одного уцелевшего селенья, где не ликовал бы сейчас народ, даже среди свежих могил и не затущенных костров. Нельзя не петь в такое утро! Радость застиласт нам очи, и порой пропадают из поля зрения дымящиеся руины, которые надлежало бы сохранить навеки в качестве улик последнего фашистского дикарства. Уже начинает действовать спасительная привычка забвенья, но история не хочет, чтобы мы забывали об этом. Едва стали блёкнуть в памяти подробности Майданека и Бабьего Яра, она Освенцимом напомнила нам об опасности даже и поверженного злодейства. Этот документ написан человеческой кровцой, и каждой буквы в нём хватило бы омрачить самый волшебный полдень.

О, эти полтораста тысяч чьих-то матерей и невест, обрятых перед сожжением! Детские локоны и девичьи косы, которые прижимали к губам любимые,— которые нежно и бережно перебирал ветер,— с прядками которых на сердце дрались на фронтах сыновья, отцы и женихи. Костный суперфосфат, окровавленные лохмотья, прессованная людская зола, упакованная в тонны и ставшая сырьём для промышленности и земледелия прусских... А ведь каждая кричала и тоже молила о пощаде, и единственным просветом в её чёрной тьме была надежда на воздаяние убийцам. Нет, пусть слёзы радости не затуманят ясного взора судей.

Эта бесформенная глыба с воздетыми руками сгрязла в разных Освенцимах, может быть, двадцать миллионов жизней. Никто не удивится, если при окончательном подсчёте эта цифра вдвое возрастёт. Можно исчислить сожжённые деревни, даже рубли, потраченные на порох и танки,— нельзя устроить перекличку мёртвым. Сколько их, о которых некому не только плакать, но и вспомнить. Суд свободолюбивых народов разберётся, кто повинен в содеянных мерзостях: не все, но многие. Они хотели

обратить нас всех в бессловесных доноров костной муки и человеческого волоса. Но мир не пал, как Рим, который всегда любил класть свою тиару к ногам очередного Гензериха... Что ж, пришла очередь расплаты. Выходите вперёд, оборотни и упыри, кладбищенские весельчаки и экзекуторы,— не прячьтесь в недрах нации, которую вы обесславили надолго. Согласно параграфам германской юстиции, кара преступнику назначается за каждое преступление в отдельности: убивший троих приговаривается к смерти трижды. Всякий из вас должен был бы умереть по тысяче, по сто тысяч, по миллиону раз подряд,— вы умрёте по разу. Никто не упрекнёт победителя в отсутствии милости. Уйдите же, перестаньте быть, истайте вместе с пороховою гарью, закройте грёбовою крышкой своё поганое лицо, дайте нам улыбаться такой весне!

Пушки одеваются в чехлы. Милые лесные пичуги недоверчиво обсуждают наступившее безмолвие. Оно громадно и розово сейчас, как самый воздух утра над Европой... а ещё недавно, когда истекали последние минуты войны, казалось — никакого человеческого ликованья нехватит насытить его до конца. Нет, радость наша больше горя, а жизнь сильнее смерти, и громче любой тишины людская песня. Ей аплодируют молодые листочки в рощах, ей втрят басовитые прибои наших морей и подголоски вешних родников. Её содержанье в том, о чём думали в годы войны все вы — кроткие, красивые наши женщины у заводских станков, вы — осиротелые на целых четыре года ребятишки, вы — солдаты, в зябкий рассветный, перед штурмом, час!.. Только в песне всё уложено плотней, заключено в едином слове — Победа, как отдельные росинки и дождинки слиты в могучий таран океанской волны. Это песня о великой осуществлённой сказке, которая однажды пройдёт по земле прекрасным, в венчике из полевых цветов, ребёнком... Отдайтесь же своей радости — современники, товарищи, друзья. Вы прошагали от Октябрь-

ря до Победы, от Сталинграда до Берлина, но вы прошли бы и вдесятеро больший путь. Всмотритесь друг в друга,— как вы красивы сегодня, и не только мускулистая ваша сила, но и передовая ваша человечность отразилась в зеркале победы. Не стыдитесь: поздравьте соседа, обнимите встречного, улыбнитесь незнакомому — они также, как и вы, не спали в эти героические ночи,— машинист или врач, милиционер или академик. Нет предела нашему ликованию.

И если мы не умеем измерить глубину нашей радости, — ёщё менее способны мы постигнуть всё величие Гения, создавшего этот праздник. Мы знаем — и как хрустит гравий, когда он идёт на парад, и как раззываются на ходу полы его длинной шинели, и как в президиумах исторических заседаний он аплодирует своему народу, и как он глядит вдали, различая детскую улыбку на расстоянии тысячелетья... но даже и внуки наши, отойдя на век, ёщё не увидят его в полный исполинский рост. Его слава будет жить, пока живёт человеческое слово. И если всю историю земли написать на одной странице, и там будут помянуты его великие дела. Этот человек защитил не только наши жизни и достояние, но и само звание человека, которое хотел отнять у нас фашизм. И оттого — первые цветы весны, и первый свет зари, и первый вздох нашей радости — ему, нашему Сталину!

«Правда», 11 мая 1945 г.

Полдень победы

Воины возвращаются в отчий дом.

Столица, когда-то молча проводившая своих детей на тяжкий бранный подвиг, теперь с песнями встречает их в своих предместьях. Со всех концов Европы они пришли на Красную площадь рапортовать вождю. Сюда глядит история с кремлёвских башен и устремлены взоры братских республик. Сегодня эта площадь — как ладонь Родины с горстью отборного зерна Сталинского урожая. И если в этот день каждый мысленно подводит итоги своему четырёхлетнему труду, эти люди могут гордиться больше остальных сограждан. В их руках — ключи от счастья, собственноручно отбитые ими у смерти.

Они не все тут, прославленные командарамы и воины Советского Союза. Значительная их часть находится по ту сторону наших государственных рубежей. В этот самый праздничный час они несут свою будничную караульную службу. Победа есть сокровище, производное от всех других народных сокровищ. Её следует беречь бдительней, чем зеницу ока: у ней цена крови невозвратимых жертв!.. Из отдалённых чужих городов они не видят своими глазами, как на трибуну мавзолея, совместно с маршалами политики и экономики, поднялся главный маршал нашей жизни и как проволокли перед ним пленённые вражеские знамёна. Лишь издали, сердцем или радиоухом прильнув к эфиру, они услышат могучее ликование Москвы и

поклоняются на восток, в пояс — по-русски, своей старой матери-орлице.

На этом параде бессмертных также лишь духом и делом присутствуют павшие в бою. Они отдали своей стране не только труд или даже самое дыханье; всем ведомо, какие высокие творческие замыслы содержались в каждом из них. О, эти непостроенные дворцы и неоткрытые тайны природы, ненаписанные книги и нерасцветшие сады!..

Они молчат, за них говорит Победа. Родина, как печать, положит на сердце своё память об их щедрейшем даре. Мы ещё не раз скинем шапки перед ними, одетыми в мрамор и бронзу на площадях наших возрождённых городов. Пусть благодарный гул завершающего московского салюта достигнет их могил и всколыхнёт землю, приотившую их кости на чужбине...

Вечная слава им, смертью поправшим смерть. Поклон и любовь и вам, удалые, милые, далёкие сторожа победы!.. Добро пожаловать, посланцы славы!

Хорошо возвращаться на родину с сознанием исполненного долга... Вы идёте по улицам Москвы или среди необозримых колхозных раздолий, и ветер гонит вам в лицо благоуханье зацветающих полей. Птицы щебечут вам голосисто, как девушки перед покосом, и девушки, краше райских птиц, зовут вас в свои калитки. Ах, как хорошо нынче на этом самом земном шарике, товарищи!.. Женщины и малые ребятки целуют ваши знамёна и оружье, и вы сами рукоплещете им за хлеб и боевую сталь, которые так безотказно, в зной и стужу, добывали они фронтовикам. Этот день — наш великий семейный праздник, где равноправно пируют за братским столом и доблестные труженики войны, и солдаты оборонных цехов, и сапёры колхозных нив. Это их дружное рукопожатие раскрошило навеки чортов орешек фашизма.

Отечество не успело воздвигнуть триумфальных арок

для встречи победителей или выбрать на мраморных досках летопись выигранных сражений. Ничего, успеем, всё впереди. Победа не есть событие одного мгновенья, такое ви-но не выпивают залпом... Кроме того, какие арки величественней, чем радуги стольких салютов в небе отчизны? Какие поэмы полнее расскажут о делах ваших, чем эти мирные, тучные поля, как чаши с молоком, налитые созревающим урожаем и отвоёванные вами у гибели? Зато в минувшие четыре года родина тоже приумножила ваше сообщество богатство на десятки новых или восстановленных заводов и домен, электростанций и шахт, да ещё хватило сил и кирпича и на жилища для солдатских матерей и жёнок... Много послевоенных развалин, поросших бурьяном, вы увидите по сторонам дороги, но восстановление их не испугает наших рук, справившихся и не с такой работой!

Глядите же и радуйтесь, хозяева Советского Союза. Теперь вы повидали мир, и мир видел вас в полной воинской ярости... А впрочем, в полной ли ярости повидал вас мир? От Волги до Берлина вы прошли неизмеримые пространства, потому что каждая пядь их мерится особой мерой... но вы прошли бы и вчетверо длиннейший путь. Ваши танки и кони, ваши солдатские сапоги прошли по всем дорогам срединной Европы; ваши пушки пол-Германии подняли бы на воздух; злые сумерки стлались под крыльями ваших самолётов, но они могли бы расстелить и вечную ночь во вражеских пределах. Русские никогда не тратили всего пороха из своих пороховниц, там всегда оставалась заветная—и самая страшная—горстка на донышке, про запас. Умному взято нынче, что это не бахвальство, а дурака словом не проймёшь. Все помнят, чем была в канун своего нападенья на нас чванливая и озверевшая от лёгких успехов Германия, на погибель свою забывшая—что такое мы... Вдобавок к лаврам небывалого военного успеха мы приобрели в этой войне опыт для многих будущих побед на всех поприщах человеческой деятельности. И

мы познали, прежде всего, что нет ничего неодолимого для народа, отведавшего сладость своего самодержавства, как не оказалось ничего неодолимого на пути его разгневанных армий. Мы и раньше знали, что дело наше правое, но лишь теперь увидели — на что способны мы под таким водительством и при таком монолитном единстве. Для народа, поднимающегося к своему историческому перевалу, с каждым шагом ввысь раскрывается всё более величественная панорама: всё дальше отступают горизонты. Всё где у России на мир и на себя открылись орлиные очи!

Победа не упала к нашим ногам подобно плоду с дерева. Мы взяли её сами как нечто законно причитавшееся нам от истории за наши — честность, мудрость и труд. И вот мы держим её в руке, как кубок, и мы пьём его во славу Сталина... но мы будем пить его долго, оставив кое-что и детям нашим. Крепкий хмель этого напитка не расслабит нашей воли, не отуманит зоркости. Мы не балованные. У нас позади тысячелетний трудный путь России; наше поколение основало в Октябре первый плацдарм и первую жилую точку в географии новой эры; мы с гордой улыбкой вспоминаем также три суровых пятилетки, когда, во исполненье ленинских заветов, Stalin повёл отсталую страну на повышенных скоростях, в обгон недобрых соседей. Бетер столетий кричал нам в уши, чтоб мы остановились, он сбивал с ног слабейших, но сильные пришли к назначенному финишу в срок. Тут-то и впиталось навечно в сознанье советских народов, что лишь тот живёт с достоинством, кто всегда готов умереть за это.

Воистину глупы те, кто полагает, что мы уже совершили всё, для чего рожала нас матушка на белый свет. Мы ещё на своём веку хотим увидеть абсолютное материальное благополучие, которое есть почва для абсолютного земного счастья,—и мы увидим, хотя бы на советском куске суши, этот преображеный мир. Можно предсказать поэтому блестящее развитие во всех областях нашей жизни,

планомерность которого недоступна другим и которое одно определяет здоровье социального организма. Если мы давали бой стихиям, даже отбиваясь от дикарей,—что же будет дальше, за победой! Там будет для всех и всё необходимое, чтобы разгрузить разум человека от повседневной бытовой заботы. И чем дальше мы станем продвигаться в глубину времени, тем большее количество новых потребностей будет рождаться в нас параллельно с возможностями их насыщения. Наши сегодняшние цели и желанья в науке и быту покажутся крохотными в сравнении с теми, которые поставит в повестку дня возросшее ныне могущество. Пусть скептики назовут это наивной сказкой: чем более высокие цели ставит себе человек, тем большего он достигает. А не наивным ли казалось пророчество Белинского о русских сороковых годах нашего века, о нас? А не наивно ли звучали для маловеров клятвы большевиков, не так давно, при свете луцины, в снегах сибирских захолустий? Такой же глубокой верой было проникнуто наше спокойное и человечное—«наше дело правое,—победа будет за нами», когда Гитлер замахнулся на нас кулаком всеевропейской тяжёлой индустрии. А как он кривлялся и галдел, грозился русское небо забить в колодки, советское солнце загнать в хомут тем самым кнутом, который уже свистел над коленопреклонённой Европой... И что же осталось, на поверку, от нордической «красы господ»? Фашизм, который оглушительно вмаршировал в Германию через Бранденбургские ворота, скромно вышел из них же под конвоем советских автоматчиков, как нечистый дух изо рта кликуши. Она сидит теперь на манер сказочной бабы-дуры у разбитого корыта, и её знамёна с чёрными пауками валяются у мавзолея, где лежит Ленин.

И тут, в этот триумфальный полдень, когда слеза набегает на очи, вспомняем с обнажённой головой нашего великого и прозорливого Ленина, который есть зачинатель победы и всего, что подобно океану разольётся после нас

на тысячелетья. Бесконечно скорбно, что нет его нынче с нами. Ветераны, которые ребятками грелись со своими плачущими отцами у незабываемых январских костров, теперь на руках принесли бы его на эту знаменитейшую из площадей земли, чтоб видел он сам овеществлённый блеск несусловного ленинского гуманизма. И если садовод радуется каждому сантиметру роста своих питомцев, какой гордостью озарились бы прищуренные ленинские очи при виде такого сада, выращенного его первым другом и мастером человеческих садов! И Сталин молча обнял бы его на глазах потрясённых народов, и верится, сами горные вершины преклонились бы перед святостью такой минуты!..

...Обширно и ветвисто генеалогическое древо нынешних героев; не вчера начались — творенье нового мира и бессмертный подвиг нашей отчизны. Правдоискателем слывёт среди народов русский народ. Эту славу доставили ему наши предки... Поэтому давайте поклонимся земно и всей нашей дальней и ближней родне, которая на протяжении столетья вкладывала свои кровь и жизнь или хотя бы мысль и труд в дело победы. Поделимся с ними нашей славой. Мы родились на восходе солнца, они умирали в глухую ночь России. Мы ворочаем горами, они начинали с движения каких-то первичных волокон в человеческих душах. Но им было труднее нашего, у них не было Ленина и Сталина, хотя именно они подготовили наши народы к восприятию ленинско-сталинской идеи.

Мир во-время оторвал от своего горла фашистскую тварь: промедление означало бы конец всему, что нам дорого. Сколько и каких людей сложили свои головы, прежде чем её достали из бронированной норы! И вот свершилось: уже у ног европейского правосудия ластится и ползает эта тварь, укус которой мог оказаться смертельным для человечества. Время идёт, но петля почему-то медлит. Эксперты глубокомысленно протирают очки, инвентаризируют склады с уликами, изучают диаметры огнестрель-

ных дырок в затылках освенцимских младенцев. Мёртвые устали ждать в свидетельской, которая им оскорбительнее, чем застенок гестапо. Громадная толпа Европы зачарованно наблюдает этих невозумимых шемяк, и что-то не видать в ней, к стыду века, ни Жана-Батиста Мольера: ни Джонатана Свифта с его длинной палкой!..

Есть такие жуки, что живут в старых книгах. Проникновенная святость светится у них во взоре, потому что они едят библии. У них не было родственников в Бухенвальде, их сыновья не плыли к кораблям в багровом кипятке Дюнкерка!

...Зато в советской стране живые постоянно слышат голоса мёртвых. Мы помним о вас, простреленные и отравленные, большие и маленькие граждане Европы, военно-пленные и просто безвестные пахари, приглянувшиеся убийцам как мишень. Расплачиваясь за своих, мы чохом отомстим и за вас, невинно умерщвлённые поляки, ангlosаксы и французы. Мы победили не только потому, что сильны; в пору нападенья у Германии было больше танков и пушек. Зло мы одолели между прочим и потому, что никогда не баловались именем справедливости.

По этой самой причине нынешнее наше торжество есть прежде всего торжество Человека, с боем отстоявшего своё человеческое звание. И пока гремят оркестры, пусть каждый шепотком скажет в розовое ушко своему ребёнку:

— Дорогие, отроки и девочки, и вы — совсем маленькие! Запоминайте этих грозных и очень добрых людей, избавивших вас от кнута и виселицы, от газа циклона и печки со страшным красным глазком, от изуверских фашистских вивисекций и от горьких, всегда таких неслышных детских слёз. Пусть в вашей невинной памяти павеки запишется этот день, полный всяческих благодеяний. Таких подарков детям не дарил ещё никто. И если когда-нибудь усталость надломит ваше вдохновение или грязнут чёрные минуты, от которых мы, немножко постаревшие и смерт-

ные, не можем обронить вас на расстоянии веков, — вспомните этот день, и вам смешна станет временная невзгода. Вам будет так, как если бы вы раскрыли бесконечно святую книгу творческой муки, беззаветного героизма и бессонного труда. Эта книга называется—Великая Отечественная война. В ней все мы были только буквами, строчными и заглавными, которыми верховный вождь нац^Стилин написал самую золотую страницу в истории человеческого рода.

«Правда», 25 июня 1945 г.

Горький сегодня

Мы проходим через девятую годовщину смерти Алексея Максимовича Горького. Это большой срок, достаточный, чтобы зажила любая рана. За такой срок много успевает поработать забвение. И всё же до сегодня с прежней отчёtlivостью, лишь как бы сквозь вёчернюю дымку, видим мы его милое простонародное лицо, его богатырскую фигуру, его усы, как бы смятые встречным ветром, и слышим своеобычную горьковскую речь. Мы ещё не привыкли к отсутствию этого человека в нашей среде, и вряд ли мы, имевшие счастье быть его современниками, когда-нибудь привыкнем. Место его не занято никем, ни у кого не хватает голоса говорить с его высокой трибуны. Неповторима судьба этого писателя, который больше четверти века, может быть, как никто из его великих предшественников, бессменно стоял на самом гребне большой литературы русской, а следовательно, и русской общественной мысли, притом в наиболее бурную пору её развития, подготовительную к великому перелому. Больше того, человек этот, возглавляя лучшие литературные чаяния и свершения своего века, имел право, как никто, говорить от имени совести народной.

В последующие годы его суждением дорожили не только люди искусства, но и наши изобретатели, учёные и врачи... Да и вся молодёжь, из которой в годы Отечественной войны выросла стая непобедимых героев, вспоминает эту

невосполнимую утрату. В равной степени слово Горького обладало магической силой влияния и на зарубежных читателей; много друзей из-за границы пришло к нам именно через гуманизм Горького... Однако, ни в какой иной области нашей жизни не чувствуется эта потеря так, как в литературе и театре.

Замечательно, что нашу тяжкую утрату ощущают и далёкие от дела советского искусства мастера советской науки и хозяйства. Горького хватало на всё, он владел бесчтным временем гения, его наследство громадно. Этот учитель до конца гордился своим званием ученика. Свою природную жажду к познанию он утолял из всех источников человеческой деятельности, и — следует прибавить — всякое его прикосновение всегда обогащало и самий этот источник. Тот, кто посидел с ним хоть раз за дружеской беседой, уходил от него богаче и смелее, чем был раньше, потому что уносил с собой частицу горьковской одержимости, его умной и проникновенной веры в труд, добро и знание; в русской литературе не было до него деятеля, который в такой степени возвысил бы значение этих трёх основных колонн, поддерживающих могучие своды завтрашнего человеческого общества.

Алексей Максимович имел редкий дар, доступный лишь воистину великим, — умножать сортовые качества зерна, которое он хоть недолго подержал в ладони. И это свойство его наиболее благодетельно сказалось на молодой советской литературе. Без преувеличения можно сказать, что все мы, нынешняя литераторская генерация, выпорхнули на свет из широкого горьковского рукава. Это не означает, что все принадлежат к школе горьковского стиля. Он сам говорил мне, что мы не монахи — петь в унисон молитвенные гимны... Все инструменты, все голоса нужны в большом едином оркестре, призванном прославлять и симфонически рассказать потомкам об очистительной русской грозе, в которой сам Горький был буревестником.

Мы, драматурги и литераторы, как он любил называть свою профессию, благодарны Горькому за то, что он сызмальства внушил нам понятие высочайшей ответственности перед эпохой, народом и своим ремеслом. В его глазах, в памятном нам его лице капитана дальних плаваний, который глядит за горизонты века, до конца дней отражались снежные хребты и счастливые долины человеческой мечты, которые он исходил во всех направлениях. И мы с благодарностью вспоминаем, что тогда и в нас зародилось стремление побывать там же.

Мы благодарны ему также и за отеческое слово одобрения, которое он умел во время подшепнуть каждому из нас и которое вливало добавочную силу в наш молодой творческий напор. Какая радость была нам постоянно чувствовать на себе его заботливый и строгий взгляд, каким лёгким и плодовитым становилось тогда перо в руке писателя! Все вы помните, сколько в те годы появлялось новых произведений во всех жанрах нашей литературы. Во исполнение своего знаменитого поучения — «говори ему почаше, что он хороший, он и будет хороший» — Максим Горький брал на себя опасный для большой репутации риск похвалы, которая порою действеннее и, так сказать, воспитательнее в искусстве, чем самая заслуженная и справедливая брань. Будучи хозяином в саду советской литературы, он каждую былинку знал во всех её качествах и каждой помог своим огромным авторитетом.

В нашей критике никто, как он, не любил так всё молодое, передовое и русское.

Прекрасное человеческое тепло излучалось из этого светлайшего представителя новой человеческой породы. Когда говорят о Горьком, думают о его страстной преданности людям. Но это не была тихая поровну на всех, христианская любовь ко всем людям без изъятия, это была воинствующая любовь прежде всего к добру, без которого невозможна жизнь на земле, — ленинская любовь, которой назначено преобразовать планету, которая имеет своё

жилище в сердцах тружеников, которая неизвестно облагораживает наши поля и книги и которою, в конце концов, были начинены снаряды в победоносной минувшей войне. Это и есть то самое вещества, из чего по крупинке выплавляется новая правда, самое дорогое из национальных сокровищ, а она в свою очередь служила только сырьём для достигнутой нами победы. Всю свою жизнь Горький был на службе у правды и, надо сказать, в отпуск ни разу не просился и не демобилизовался до последней минуты. Эту правду он защищал так, точно она была его собственным телом. Он требовал от всех современников быть участником грандиозной, начавшейся и уже неостановимой битвы за планету. Он не терпел равнодушных, и равнодушные не любили его. У человечества было к нему вполне чёткое отношение, как ко всякому гению его размаха; либо боялись, то есть почтительно ненавидели, либо любили глубокой любовью, сказавшейся хотя бы в высоком доверии к нему нашего народа. Словом, это был настоящий воин, поскольку звание маршала также является воинским званьем.

Каждая книга его или пьеса была сражением за какой-нибудь догмат нашего гуманизма, и почти каждое он выигрывал. Как всякая победа, это показывает не только доблесть солдата, но и качество его оружия. В современной духовной войне от этого оружия требуется непревзойдённые технологические качества. Умирая, старый мир подымает против нас все свои хоругви; он готов зарядить свои пушки древним камнем своих святынь, базилик и музеев, лишь бы они умерщвляли. Незабываемые имена мастеров культуры, которых этот старый мир сам же изголялся или отлучал от церкви, убивал голодом или жёг на кострах, теперь он насильно мобилизует против побеждающей новизны,— и не Горький ли начал понемногу возвращать их в наш лагерь, где им надлежит быть. Потому, что гений есть неувядающая молодость, никогда не устающая сражаться за людское благо...

Здесь и следует подчеркнуть, хоть и не нуждается Горький в наших оценках, могучий и безупречный его художественный дар. Диалог его пьес, написанных почти столетие назад,— так много протекло событий!—предельно выразителен и жив до сегодня и если порой перенасыщен мыслью, то оттого лишь, что именно этих качеств требовала от него его боевая эпоха: его описание всегда точно и глубоко, словно стальным штихелем вырезанное на меди; композиция его пьес, вызывавшая различные толкования, мне кажется, носит в себе зародыши новой блестящей драматургии, прорастить которые на театре не решился или по ряду внешних обстоятельств не смог пока никто. Но всякий, кому будет принадлежать честь дальнейшего развития русского репертуара, неминуемо должен будет пройти под творческой аркой Горького, после того, как минует он улицы и площади—Гоголя, Островского и Чехова.

Жизнь Алексея Максимовича можно было бы назвать шествием к звёздам, — этими словами в старые времена обозначался большой человеческий подвиг. Много эпитетов можно поставить перед этим именем, — самый точный и заслуженный из них — это данный ему посмертно товарищем Сталиным — «титанический человек». Действительно было во всём горьковском облике что-то от древнего Прометея — вплоть до злых птиц, погубивших его за благодеяния людям. Такие не умирают: звезда не угасает. Горький лишь поднялся на небосклон русской литературы, где ему надлежит сиять века. Вот почему до сегодня творцы и воины советской земли чувствуют рядом с собой локоть Горького...

А ведь почти десять лет прошло со дня его кончины, и какие десять лет! В них уложились невообразимые, во главе с Отечественной войной, исторические события, величественные, как сейсмические потрясения. Слово Горького в этой войне тоже было нашим оружием, которым и

при жизни он немало ран нанёс фашизму. Отличие гениев от смертных в том, что и после смерти они трудятся наравне с живыми. Это даёт нам право сказать, что Горький вместе с нами, нынешними, вместе с войсками нашими вступал в Берлин, как и дальше он будет сопровождать нас в нашем бесконечном движении к умному и гордому, богов достойному счастью.

Слава Горькому!

*Вступительное слово на горьковской
сессии Всероссийского театрального общества
11 июля 1945 года.*

Когда заплачет Ирма

ПИСЬМО НА РОДИНУ.

Есть такая заштатная провинция в Северо-Западной Германии, близ Гамбурга, под названием Люнебург. Война не тронула никак этого тихого городишко, составленного по старонемецкому рецепту — из тройки кирок, городского кегельбана и десятка крохотных отелей. Громить здесь нечего, и «летающие крепости», прямым ходом неся свой груз на Берлин, не оставили здесь по себе дурных воспоминаний. Сюда бежали со своими семьями гамбургские негоцианты, чтоб отсидеться от первой волны возмездия. Это они чинно гуляют здесь со своими фрау, это их кроткие детки бесшумно шалят на улицах, и даже мухи здесь летают особые, мелкие благовоспитанные мухи, не оставляющие следов на домашних предметах. Зато и скука в Люнебурге настоящая, немецкая, похожая на газовое удушье. Из таких уютных нор и вышла германская крыса в поход на житницы Европы.

• В Люнебурге отравился Гиммлер. В Люнебурге была резиденция Риббентропа... Сомнительная слава! Так бы и тлеть Люнебургу в его тысячелетней безвестности, если бы дополнительные обстоятельства не привлекли к нему теперь вниманья мировой прессы. Как бы застылый крик чудится в томительной люнебургской тишине, которой не могут расшевелить даже визг и стремительный бег английских военных грузовиков, а цветы в палисадниках, как

и лица здешних детей, подёрнуты одной и той же тёмной трупной плёнкой, которой долго ещё не смоют чистоплотные немецкие мамы и осенние дожди. Не один год стлался над Германией чёрный скверный дым из больших продолжавших печек, построенных здесь для сожженья человеческого тела. Как при многих германских городак, при Люнебурге имелся свой концентрационный лагерь, один из тех, через которые Германия сбиралась профильтровать человечество. Бельзенская фабрика для переработки живого людского племени в вонючий и липкий тлен является почти зеркальным отражением—лишь в уменьшенных размерах—других, более знаменитых лагерей. Только здесь действовали не специальными аппаратами пыток и газирований, хотя имелись они и в Бельзене, а главным образом—голодом. Бельзен—гигантская морилка. Кормёжка была тут не средством поддержания жизни, а садистическим продлением смертной муки; в условиях Бельзена пуля эсэсовца могла считаться даром милосердия!.. Сейчас в этом самом городке военный суд английской оккупационной зоны разбирает деятельность дружной и сплочённой банды, уничтожившей свыше ста тысяч жизней.

Цифра эта, конечно, почти ничтожна в сравнении с миллионными гекатомбами Майданека и Освенцима. Ещё десятки таких тайников раскопают со временем на пространствах Германии. Ничто уже не может умножить греха Германии перед миром, равно как ничем нельзя увеличить и презренья мыслящего мира к гитлеровской Германии!.. К тому же бельзенская система морального и физического истребления давно знакома советскому читателю по прежним описаньям. Ализариновые чернила и человеческая речь бессильны передать длительное ощущение душевной отравленности, полученное нами при воссещении этого гибкого места. Сам Дант не рассказал бы больше, если б его послали сюда корреспондентом... Нет, кровь и пепел—плохая палитра для художника, который хочет глядеть в бу-

дущее; в таких случаях лучше всего слово предоставлять катюшам. Но никогда не следует нам выметать из памяти, как сор, воспоминания об этих несчастных,—как лежали они вповалку в своих промёрзлых бараках, без стона, без надежды, без жалобы, одичавшие, высушенные голодом так, что почти не пахли после смерти,—и как подымали их в глухую ночь на «проверку», и они стояли под команду «смирно» от трёх до девяти,—и как текло длинное зимнее время, достаточное для сумасшествия,—и как упавших добивали кольями или рубили им головы заступами, как тыквы, и так было, пока холодное зимнее солнышко не прерывало этой утренней зарядки плачей...

Лагерем заведывал Иозеф Крамер, гауптштурмфюрер бычьего веса и внешности, ныне сидящий в десяти шагах от нас. Восточная Европа и моя Родина также имеют право на жизнь этого эрзац-человека. Если даже при огромной норме смертности в Бельзенском лагере всё же осталось четыре тысячи русских, сколько же всего закопано их в белых сыпучих бельзенских песках!.. Кроме того, свою тренировку в этой области Крамер начинал в Освенциме, и имя его особо упоминается в актах нашей Чрезвычайной Комиссии. В Бельзене он проработал всего полгода, и только потому механизация смерти и производство покойников не были поставлены на освенцимскую высоту. Конечно, к трём его орденам Гиммлер подкинул бы и четвёртый, если бы Красная Армия своевременно, взятием Берлина, не обрушила головы фашистской Германии, а шестьдесят третья противотанковая английская батарея не ворвалась за колючую проволоку Бельзена.

Пресса всего мира называет Крамера чудовищем; это неверно. Такое слово заключает в себе понятие исключительности, достойной удивления. Крамер был не один в Германии, их было не сто, даже не тысяча. В Германии было наложено серийное их производство. Этому теперь

не надо удивляться, это надо изучать, чтобы предотвратить их вторжение в мир в будущем. Нет, Бельзенский лагерь есть обыкновенное в Германии явление, как и сам Крамер есть просто скотина в чистом её естестве, бывшая сапогом в живот русских женщин, скотина безжалостная и хитрая. Писать о ней вполне противно, и полагается скорее давить её в двойной, для надёжности, петле, но прежде следует назвать ту страшную яму, откуда этот зверь вылез на белый свет.

В опустошительных прогулках по лагерю его обычно сопровождала постоянно сменявшаяся часть его гнусной оравы, куда входили мужчины и женщины, убийцы с учёными дипломами европейских университетов и просто даровитые в данной области самоучки. Мы достаточно читали о них и от многих из этой нечисти великодушно избавили планету. Перо советского журналиста имеет более почётные и срочные темы в разорённой и пошатнувшейся Европе, чем создание портретной галереи даже выдающихся некрофилов и громил. Но эти экземпляры нордической расы являются образцами социального вещества, из которого была построена фашистская Германия, и потому полезно хотя бы нескольких из них рассмотреть в пристальную лупу художника.

По женщине, по её облику и морали, по её месту в обществе можно судить, наравне с другими признаками, о физическом и нравственном здоровье государства. Этой поручила природа величайшее дело рождения и первичного воспитания своих завтраших граждан. И вот перед нами девятнадцать женщин, застигнутых на преступлениях, на которые не способно и животное. Возьмём лишь трёх этих современных германских «геронь», из которых самой старшей — Жоане Борман — пятьдесят два, а самой молодой, Ирме Грэзе, только двадцать один год.

Первая из них — проворная, без единого седого волоса.

са, обезьянка, решившая на склоне лет послужить своему фюреру. Родства с нею устылился бы сам паскудный немецкий чорт. С её тёмного лица, кажется, ещё не сошёл загар от крематорной печки, у которой любила постоять эта скромная домохозяйка, слушая, как скворчит и пузирится там человеческое жарево. Она не убивала сама, она лишь сортировала одежду бельзенских жертв, ещё тёплую от владельцев, пока те бились в корчах и синели под душевыми кранами газовой камеры. Она также сортировала женщин, отбирая слабых на газовую смерть, а привлекательных — в публичные дома для немецких солдат. Её единственной слабостью было потравить волкодавами какое-нибудь занумерованное человеческое существо, уже неспособное к бегству, уже непригодное в лагерном хозяйстве. О, стонут только представить себе, как пошлёпывала детишек эта тихая немецкая бабушка, отправляя их в крематорий... Вот гаснет свет в зале суда, и на крохотный экран ложится вещественное доказательство обвинения, двадцатиминутный фильм, где запечатлён, так сказать, в поученье потомкам, апофеоз древней германской культуры. Незабываемые картины подсмотрел армейский киноглаз тотчас по освобождении Бельзенского лагеря. Происходят торопливые похороны тридцати тысяч трупов, уже утративших человеческое подобие и с чёрными впадинами, — это ножами из консервных банок выкраивали себе пищу одичалые бельзенские людоеды. Мордатые эсэсовцы и их грудастые марухи таскают на себе, ухватясь за шею или ногу, раскоряки мёртвые тела своих жертв, — с одуревшими глазами, в изнурительном поту они таскают их без конца в длинный, неописуемый овраг, и кажется, что трупным запахом наполняется зал суда. Могучий английский бульдозер, снегоочиститель, сгребает распадающееся людское мессиво, и похоже — мёртвые шевелятся всяко и привстают, чтобы их навеки запомнили живые... Потом опять — внезапный электрический свет, и

видно всем, как украдкой зевает старушка Борман, тёмной грешной своею лапочкой прикрывая рот. Бабушка скучает. Какова выдержка этой старушки даже на очной ставке с мертвецами!

Почти рядом с нею сидит под номером девятым такая молоденькая и уже такая подлая Ирма Грэзе. Это крестьянская дочь из Тюрингии, прошедшая нацистскую школу. Иностранные журналисты, богато представленные на процессе, наперебой раскричали её как «хорошенькую белокурую бестию». Мягко говоря, такое определение страдает легкомыслием и даже попросту плохо в профессиональном отношении. Маску зверя они приняли за человеческое лицо. Благообразность Ирмы ещё ужаснее явного уродства всех этих косоглазых дегенераторов и человекорысей с подпаленной шерстью. Это горгона, загrimированная под Гретхен, самая лютая в лагерях Бельзена и Освенцима, где она долгое время заведывала одним из смертных цехов. Недовольная старинными способами уничтожения, имея вкус к делам такого рода, она изобретала новые виды казней. Её брови сведены, намертво стиснуты губы: её водянистые, воспалённые и навыкат глаза, как бы набухшие ужасными виденьями, смотрят подолгу и не мигая, как наведённый пистолет. Наверно дети падали замертво под этим взглядом. Она брезгливо улыбается, когда слишком уж добросовестная защита вступает в длинное препирательство с судьями о приглашении каких-то учёных знатоков международного права, словно совести сидящих здесь почтенных английских генералов недостаточно для изобличения преступления.

Когда её уводят из здания суда в тюремный грузовик, кто-то из этих приличных, лакированных немцев, шпалерами стоящих вдоль улицы, кричит ей:

— Боишься, Ирма?

И она роняет сквозь зубы:

— Нет.

Нашим юристам было бы гадко выступать защитниками в процессе такого рода. Защите было бы более к лицу лишь помочь судьям разобраться в обстоятельствах преступления и прежде всего — начертать перед миром родословную пещерной мерзости, искалечившей души этих когда-то человекоподобных существ. В Люнебурге защита действует иначе и, надо признать, без особого блеска. Она находит в себе решимость расспрашивать свидетельницу, еле стоящую на ногах, о приметах собаки, которая рвала ей тело, или о длине и весе дубины, которою ей почти перерубили руку.

— Не могу сказать... я её только чувствовала, — еле слышно отвечает жертва.

Нет, видимо, есть над чем улыбаться Ирме Грезе в Люнебургском процессе!

Между этими двумя сидит Герта Элерт. Едва взглянув в глаза суду, вся помертвев, она валится с ног, полагая, что с ней сейчас станут делать то самое, что делала она сама, когда к ней вводили очередного бельзенского узника. Вот улика!.. Кроме Бельзена, она хорошо потрудилась в Равенсбрюке, в Майданеке и Освенциме. Ее отёклое лицо бледно, словно она наелась трупятины; в нём особо запоминается длинный, от уха до уха, рот, который изредка сводит судорога зевоты. Жаба показалась бы творением Фидия в сравненьи с этой тварью... Словом, матери мира, благодарно улыбнитесь солдатам Объединённых наций, что охранили ваших малюток от этих белокурых зверей!

Вот что сделал фашизм из германской женщины. Не для сравненья, которое оскорбило бы вас, а лишь соскучившись по вас на чужбине, я вспоминаю вас, милые женщины и девушки Советского Союза, ровесницы Зои, работницы и героини, вынесшие наравне с мужчинами всю тяжесть победы над этой адской нежитью!

Все подсудимые очень разные и вместе с тем все они —

родня друг другу. Одноковая эзесовская рубашка у всей этой колоды, которою Германия решилась сыграть ва-банк на овладение планетой. В колоде недостаёт лишь тузов. Они сидят сейчас в одиночках шорибергской городской тюрьмы⁶ в ожидании такого же процесса. Судя по сообщениям иностранных агентств, они или судорожно рыдают, как Геринг, которого, несмотря на похудение, американская охрана зовёт попрежнему — пузо, — либо благочестиво беседуют со священниками, как Ганс Франк, гауляйтер Польши, либо усиленно лечатся от несуществующих недугов, как рыжая дубина Риббентроп. Для исторического благополучия народов и для морального оздоровления мира необходимо, чтобы намечающиеся упощения Люнебургского процесса не были повторены и в Нюрнберге.

Речь идёт не о том, чтобы просто повесить этих бывших продавщиц, домохозяек и свихнувшихся немецких пейзанок. Если бы вопрос стоял лишь о возмездии или мести, стоило бы ещё раньше закопать эту шпану. Но человечеству слишком мало только возмездия. Пора нам приниматься за лечение самого недуга, настолько омрачившего светлый лик добра. При борьбе с болезнью не полагается ловить за хвост и истреблять каждого микробы в отдельности: надо стремиться понять самое существо болезни. Так вот: в Люнебурге ни разу не было названо слово фашизм, не были прослежены причины заболевания, и потому остаётся впечатление, что на раковую опухоль сыплют не очень чудодейственный в таких случаях пенициллин. Будем надеяться, товарищи, что в Нюрнберге научно поставят диагноз и вслух назовут имя зла, хотя и поверженного, но, мне кажется, ещё не обезвреженного целиком. История не простит людям, если и там станут судить лишь бывших коммивояжёров, незадачливых вояк и ожиревших лётчиков, покусившихся на самые драгоценные права человека.

При всём этом, однако, Люнебургский процесс имеет неоспоримое значение для европейской культуры и мировой безопасности. Он — первый в ряду такого рода. Некоторая часть общественного мирового мнения не вполне доверяла сообщениям и актам нашей Чрезвычайной Комиссии. Они думали, что мы их пугаем!.. Одна журналистка призналась мне в этом. Тем более не могла, значит, вонь Освенцима и Майданека пересечь пространства не только Атлантики, но и Ламанша. Теперь мировая печать по локоть запускает руку в почернелую смертную рану бельзенских страдальцев. Ничего, гляди, щупай, удостоверься, неверный и беззаботный Фома!

А есть опасность, что подбитое зло уползёт в тёмную яору, вроде Люнебурга, чтоб зализывать грозные, но не смертельные раны. И верно, ещё не повисли палачи, а уже сообщения о процессе в мировой прессе переехали на второстепенное место, да и те, скажем честно, состояли в большинстве своём из описаний красотки Ирмы и усмешек Крамера, их тюремных камер и диэт и даже количества киловатт в прожекторах, светом которых залит зал суда. Уже приезжие фотографы снимают у гимнастического зала, где идёт суд, каких-то ласковых прусских генералов в отставке и берут интервью о том, как Германия, убившая 26 миллионов, ни сном, ни духом не подозревала об этом. А ведь один лишь предсмертный вздох этих жертв, слитый воедино; сорвал бы крыши со всей Германии!.. Но ничего, пусть старый английский бог рассудит

- **всех этих фотографов, репортёров и адвокатов: капля упала, капля оставила свой след на камне.**

Мы ходили по Бельзенскому лагерю, видели и трогали. Мы постояли у оплывшей от недавних сожжений крематорной печки, возле которой ещё лежат по-брратски скопленные детские туфельки европейского покроя и маленькие обгорелые русские валенки. Тихо сейчас на этом сером вересковом поле. Где-то и что-то догнивает. Ветер

-

покачивает истлевшие на высокой виселице верёвки с блоками. Кощунственный смрад человеческих костров давно впитался в листву и хвою обширных здешних лесов. Скоро их сорвёт осенний ветер и затопчет в небытие. Сенсация кончается.

А жаль, что так рано начал действовать равнодушный плуг людского забвенья. Я не объехал всей Германии, но думается мне, что Люнебург находится всего лишь в состоянии остоянения, как от удара доской по харе; он всё ещё не понимает, почему повалились на колени, казалось бы, «непобедимые» германские легионы. Поражение ещё не дошло до сердца Люнебурга,— вот почему и улыбается красотка Ирма. Грозда прошла стороной и даже не везде потрясла материальное благополучие Германии. Электричество действует, вода течёт, полиантовые розы и герани, щедро удобрённые бельзенским пеплом, доцветают на указанных для того местах. Мимо катятся высокие, запряжённые сытыми лошадьми коляски с паралличными, стерильной чистоты, старцами, совершают праздничные прогулки офицеры в полной форме, только без погон, бюргеры в шляпах с перышками. Они без волненья винчают с верхнего яруса свирепым подробностям бельзенских убийств, от которых я пощажу тебя, мой читатель,— и хоть бы один из них закрыл лицо руками от сознания национального позора. Мы возвращались из Бельзена, и хоть бы один из встречных опустил перед нами глаза, хотя и видно было по всему, что мы ездили в гости к мёртвым. Мы обошли также все эти Катцен-штрассы и улицы Святого Духа в Люнебурге и обрели украшенную свежими цветами могилу неизвестного германского лётчика, расстреливавшего таких же неизвестных детей на дорогах Англии и Белоруссии.

Нет, миру недостаточно капитуляции бывших парикмахеров и фотографов, пейзанок и кондитерских продавщиц. Нам нужно моральное разоружение гнуснейшей из

идей. И гросс-капут Германии настанет лишь тогда, когда сбежит краска с багрового, точно обожрался перца с порохом, лица Крамера и когда горько заплачет Ирма о своих злодействах.

Грустно мне нынче на чужбине, милые товарищи мои!

Люнебург. «Правда», 4 октября 1945 г.

Поездка в Дрезден

Мелкий дождик моросит над Германией. Дорога ведёт на юг. В мокром бетоне автострады изредка отразится арка очередного виадука, и снова томительный блеск осеннего неба. На спидометре — сто. Надо въехать в город до темноты. Закончилась война, но ещё длится период, в котором центром событий была война. Продрогшие часовые похаживают у шлагбаумов КП, по ночам слышны предупредительные выстрелы патрулей.

Холодно и сыро; ни человека, ни собаки. Немцы сидят по домам, пытаясь делать выводы из полученного урока. Мы едем в Дрезден. И пока тянутся три долгих часа, наполненных шелестом непогоды о смотровое стекло, в памяти чередой бегут воспоминания о виденном на немецкой земле. Они тоже не дозрели пока до значения вывода. Ещё это лишь записи из блокнота об изменениях в архитектуре города Берлина и о главном германском гвозде, об оторванной ноге бронзового Вильгельмова коня, которую он занёс было над Европой, об устройстве ставень в немецких квартирах, о целительных водах люнебургских и другой неотвязной всячине.

Нам скучно стало в Люнебурге... Перед отъездом из Берлина мы ничего не знали о конечном пункте путеше-

ствия. Пришли непроверенные слухи, будто этот ганзейский старикашка переквалифицировался в наши дни на звание германского курорта. Люнебург стоит на речке Ильменау. Видимо, этой водой и лечились зажиточные немцы от разных второстепенных болезней, от которых не умирают, — вроде выпадения волос. И вдруг счастье старику: на Люнебург обратились взоры, так сказать, всего земного шара. Здесь надлежало изучить и обезопасить самый лютый из недугов, от которого насильственно умерли миллионы непознанных людей. Болезнь эта, почти на полтора десятилетия гарью и смрадом затмившая небо Европы, пронстекала в той же степени от социального и политического неустройства нашей планеты, в какой опустошительные холера и чума гнездились в несовершенной санитарии средних веков. Таким образом Люнебург мог в неделю вымахнуть во всемирные курорты если не для поумнения, то во всяком случае для прояснения некоторых застоявшихся мозгов. Мы летели в Люнебург на крыльях надежды, что наконец-то и в глубине искалеченного материка прозвучит гневное и пламенное слово, которое истребляет заразу.

Мы напрасно предавались мечтам. Вместо политического — мы попали на уголовный процесс кучки проходимцев, которых гораздо раньше застукали бы на мокрых делах, если бы фашизм не возвёл их на недосягаемые высоты власти. Да и то, адвокаты стали выяснять, имеет ли суд дело с идиотами или негодяями, так как в первом случае требуется особое бережное отношение к их персонам. Как зачарованные смотрели мы на этих людей в мундирах цвета хаки и старались угадать, есть ли у них сердце, и, может быть, чем чорт не шутит, даже дети, подобные тем, что лежат сейчас в песках Бельзена и мёртвых глинах Освенцима. А, кажется, так понятна разница в сущности явлений, убит ли один или убиты и вдобавок ограблены единственным махом двадцать шесть миллионов душ.

Преступление не становится благодеянием, будучи повторено миллионы раз. В диалектике этого вопроса разбирается у нас рядовой колхозник, её сможет разъяснить любой комсомолец, не посвящённый в тайны высшего юридического образования. Тут-то мы и задумались. «Эгеге, — сказали мы друг другу, переглянувшись. — Жутковато делается за будущность земных жителей, когда на нетерпелившую людскую совесть наваливается тушёй толстая судейская книга в свином переплётё».

Никто из нас не сомневался, разумеется, в джентльменстве этих беспристрастных служак закона, — тем более, что всё равно не удастся им выгородить такое преступление. Но только уж где бы, казалось, джентльмену и клясться в преданности добру и в ненависти к злу, как не на могилах мучеников, погубленных фашизмом. Тем более, что Германия так «удачно» распределила лагеря уничтожения по лицу Европы, что теперь каждая самая немногочисленная нация имеет в своём распоряжении такие величественные и страшные алтари... Словом, Люнебург не выдвинул гражданского истца от имени человечества. Куда там! О муках жертв, которых заставляли перед смертью есть кал и запивать человеческой кровью, говорили с зевотой как о краже демисезонного пальто. Клятва не состоялась. Медленно и уныло текут воды Ильменау. Я сказал одному судебному чиновнику, которого заинтересовало моё мнение о процессе, что солдаты решали это дело проще и умней на поле боя; до него не дошло. Тогда я прибавил, что джентльмен, который слишком долго разговаривает с убийцей, может повредить себе репутацию. Он улыбнулся литературной гладкости афоризма. Тут-то и порешили мы сбежать из Люнебурга, несмотря на отменное хозяйственное хлебосольство. Всё равно, даже родившиеся час назад не опоздают на процесс в Люнебурге!.. Нас потянуло в Дрезден, куда в прошлом

веке ездили именитые российские литераторы на поклон древним камешкам Европы.

Пришельцы из отсталой, ещё крепостной страны, чувствуя себя чужаками на возделанной германской почве, они трепетно проходили по знаменитым галереям, часами созерцали молитвенную целеустремлённость готики, на которую сыплется сейчас мелкий осенний дождичек, и слаще ароматов наших первоснежных раздолий был им затхлый воздух германских книгохранилищ. Скромные мы люди! Не мало общечеловеческих святынь создал наш народ в те годы, а зёрна многих других раскидал по свету, нимало не заботясь о признанье своего авторства... но русским свойственно уважать чужие святыни, зачастую — в ущерб своим. Ещё совсем недавно иные из нас испытывали на чужбине благоговение вместо гордости за то, что все эти роскошества ума и сердца, глаза и души созданы были за широкой спиной их собственного народа, пока тот в трёхсотлетнем бою отбивал свирепый написк азиатских вторжений... Зато именно в те далёкие времена окрепла наша исконная становая сила — та, что рождается из неколебимой любви к родимым пространствам, усеянным дедовскими костями, свеже-политым отцовской и братней кровью. Без этого чувства невозможно существовать народу. Мерилом высоты такого чувства должна служить та духовная и вещественная польза, которую приобретает в целом общечеловеческая семья от любви данного народа к своей земле.

Русские, даже дерясь за себя, дрались тем самым за свободу мира, ибо в эту сторону устремлена была народная правда; немцы, крича о надмирном человеческом духе, думали о своей личной, бюргерской сътости. У нас возникла идея всемирного братанья, у них — всемирного порабощенья. Мы дарили людям имена Чернышевского и Ленина, они в те же самые сроки выпускали на мир Бисмарка и Мольтке. Немец в военной форме — губитель и

садист, горе малютке на его пути, — таким мы его узнали в последние пять лет. Русский солдат даже в помрачении справедливой ярости никогда не станет мстить ребёнку за деяния его отца!.. Стоит только посмотреть по сторонам автострады, по которой, под мелким осенним дождичком, мы мчимся в Дрезден. Отяжелевший от сырости дым стелется из фабричных труб, неповреждённые шагают в тумане мачты высоковольтных передач, благодетельные свет и тепло струятся в их медных, непорваных жилах, ребятишки выглядывают из школьных окон. А вспомним руины Донбасса и щебёнку Пулкова, каменные скелеты индустриальных наших великанов, которых мы всенародно растили целых три пятилетки. Нет, мы великолепны, Германия! Вся твоя восточная территория исхожена сапогами нашей пехоты, промерена гусеницами наших танков, но, ворвавшись хозяевами в твои пределы, мы не отплатили тем же, не отнимали источников жизни, не подымали на воздух электростанций, не рубили столбов связи толовыми поясками, не резали шпал специальными гнусными машинами, не затопляли шахт, не закладывали мин замедленного действия в стены твоих школ и больниц.

Правда, города Германии сохранились несколько хуже. Так выглядят рожи неисправимых драчунов. Они теперь все похожи друг на дружку: Дрезден — на Франкфурт, Кельн — на Берлин. Я помню эту гордую столицу лет двадцать тому назад, — её отполированные улицы, где могли линчевать за брошенный окурок, помню берлинских полицаев, шупо, казавшихся родственниками Юпитера, — многоэтажный универмаг Вертгейма, набитый соблазнами, как огурец семенами, — помню кавалькады амазонок в аллеях Тиргартена... Не тот стал Берлин, не те немцы. Хватит на десяток лет вывозить мусор с площадей, а шупо похожи на скорбных пьера в балахонах больничных служителей, а в витринах Вертгейма выставлен

скрученный швейлер вперемёжку с битым кирпичом, а заплаканные амазонки продают у развалин рейхстага мужнины штаны да «уры» с цепками. Мы посетили также гамбургский порт, этот рот Германии, которым она круглосуточно принимала пищу со всего мира, полный теперь железных мертвцевов, чёрных от фосфорных бомб и застывших с поднятыми кранами, в том положении, как их застигло возмездие... Нет, мы глядели на это без злорадства: щебёнка ещё носит след человеческого труда, и слёзы всех народов сродни по своему химическому составу.

Так кто же виноват, Германия, что Гитлер проиграл твои вековые сокровища в пятилетие? Ты приманила войну к своим границам, думая, что этого адского пса можно безнаказанно натравливать на любую из окрестных стран. Ты пожелала восточного пространства, и восточное пространство само пришло к тебе. Если по памятникам страны можно судить, что хранит она в памяти и куда направлена её государственная идея, то оглянись на свои площахи, Германия. Мы видели сотни этих истуканов, королей и полководцев, обвещанных приборами человеконенавистления, и даже одного упитанного архиерея с казацкой пикой и верхом на битюге. И чем позднее отлит истукан, тем откровенней замысел бюргера. «На штурм мира!» В немецких журналах искусств можно видеть, какой скульптуркой, в случае победы, украсила бы себе Германия вид из окна. Тут и голые девицы с короткими ножами, музы убийства вроде Ирмы Грэзе, купальщики в шлемах и с фомкой под мышкой и, наконец, мыслители, мучительно раздумывающие, как бы им половчей присвоить богатства соседа... Теперь вся эта смешная медь — в трещинах и дырах, чтобы хорошенько проветрилась застоявшаяся там чванливая дурость. — Уцелевшие Гёте и Гумбольдт с

презрением смотрят на ничтожество потомков со своих постаментов.

Вот какая тысячелетняя мокрица жила в каменном кружеве этих обольстительных архитектурных сооружений; впрочем, её давно угадывали некоторые из прозорливцев нашей старой литературы. Так откуда же вывелоось это паскудное насекомое? Ежели в средние века для получения блох рекомендовалось набить опилками бутыль и, залив жидкостью погаже, поставить в тепло, то какие же строительные материалы пошли на образование такой дурацкой и опасной идеи о всемирном немецком господстве? Единственный путь объяснения общественных явлений — способ ленинской науки; моя задача — хотя бы наспех показать моральную подготовку единичной немецкой особи, какого-нибудь бюргера с Фазанен-штрассе, к безумиям 33—42 года, когда обозначился, наконец, финис фашизму. Это он с риском апоплексии орал «хайль» фюреру, он посыпал своих отпрысков на Волгу за поживой, — это он пытается теперь пролить крокодилью слезу у врат разрушенного райха. Что именно, — может быть, теснота и обнищанье толкнули беднягу на чреватый путь военного грабежа? Нет. Мне понятна брезгливая ярость наших войск, когда они вошли на постой в немецкие квартиры. Они увидели уютное гнёздышко в семь комнат, забитое комфорtabельным бараклом. С недоверчивым удивлением они трогали эти самосветящиеся во тьме штепселя и хитроумные приспособления для ставень, закрываемых изнутри, тискали заветную кнопку, которая на расстоянии открывает калитку. Бюргер жил на пределе материального благополучия, когда, поддавшись желанию ещё большего, он ринулся за Вислу грабить белорусского мужика. Вот как выглядит в наши дни сказка о

разбитом корыте. Солдат советской оккупационной зоны увидел на примере, что бывает, когда богатства нации скапливаются в руках немногих: они обращаются в жир, который дурит и душит страну, и она в бешенстве бросается на соседей грызть им горло, и тогда её бьют по чьему придётся, пока не присмиреет...

Последние полвека обнищалая духом Германия бюргеров и гросс-бауэров все умственные усилия прилагала на улучшение своего хлева, ибо о назначении жилища судят не по качеству отделки, а по тому — кто обитает в нём. Бюргер трудолюбив, аккуратен и строг; мне казалось, что и цветы-то в их крохотных палисадничках растут единственно под страхом телесного наказания. Он отличный каталогизатор; дай ему власть, он немедля перенумеровал бы все явления природы, леса и облака, торы и невинных букашек. Он и во сне-то не спит, а всё обдумывает, как бы улучшить красоту вселенной; чуть утро, глядь — уже гостова пивная кружка с музыкой — пока пьёшь, либо чайник, который разговаривает, либо солонка в виде писсуара. Так создалась в Германии разветвлённая сеть больших мастеров на мелочишки, — стоит только вспомнить разнообразие вывесок в Берлине. Это как раз те самые специалисты по левому и правому уху, над которыми зло смеялся В. О. Ключевский. Все эти смешные качества становятся страшны, будучи пущены в дурное употребление. Тот же самый немецкий работяга, в средние века изобретший «воротник мизерикордии» или «нюрнбергскую мадонну» с ножами внутри, ныне изобретал для Бухенвальда новейший пыточный инструмент, а в передышках пил пиво и, глядя по головке девочек-двоешек, поучал семейство, что в Германии всё должно быть непременно первого сорта. И верно, уж если Крамер — так всем крамерам крамер; уж если, к примеру, гвоздь, так уж наилучший в мире, отъявленный, так сказать — идеальный платоновский гвоздь, гвоздь — прове-

рений в лабораториях Сименса и Круппа специалистами с докторскими званиями, ультра-гвоздь. Естественно, полувечевое восторженное созерцание такого совершенного гвоздя должно было наложить известный отпечаток на психику и внешний облик данной особи. Эти гвозди, размножавшиеся с инфузорной ревностью, и были вбиты во множество во все свободные точки, шляпка к шляпке, на манер того, как в статую Гинденбурга вбивали гвозди в период первой мировой войны, — живого места не осталось в Германии, и неба не видать, и плонуть некуда. И когда был вбит последний гвоздь и наступила, как говорится, апофеоз цивилизации, тогда произошло некоторое замешательство нации: как дальше быть, куда гвозди девать? — неплохой урок для всех, кто культуру отождествляет с никеллированным ширпотребом и в изготовлении патентованных гвоздей полагает высшее призвание Человека.

Бюргер устроен по принципу арифмометра, в котором все процессы совершаются механически, так что когда нашёлкаются все пять девяток, в машинке начинается суматоха шестерён, потому что дальние знаков нет, а мыслить диалектически она машина не приспособлена. Тут-то из-за стола мюнхенской пивной и поднялся благодетель Германии Адольф Гитлер. «Раз именно в Германии произошло существо на землю божественного гвоздя,— сообщил он притихшей аудитории,— значит, именно она, избранная превыше всего, Германия, и призвана к великой исторической миссии размножать во вселенной помянутую железную благодать. Оглянитесь на отстальные славянские и англо-саксонские народы, которых природа не оделила таким гвоздём. Поэтому вывалимся скопом за рубежи и освободим от человечества эпные

пространства, чтобы было где и потомкам нашим гвозди вбивать!»

Приблизительно так, по-моему, началось всё это. К тому времени на смену королям и императорам, давно стремившимся ухватить Европу за горло, пришли владыки иного рода. Мы осмогрели громадный замок одного такого,— знаменитого фабриканта зубо-прохлаждающих специй под общей вывеской — Хлородонт. Хлородонт, товарищи, это тоже гвоздь, всегерманского масштаба: ну кто же не знает Хлородонта! У Хлородонта двадцать садовников холили и подстригали парк. У Хлородонта карнавальный биллиард в гостиной, а в прихожей выстроились шеренгой, как здоровенные лакеи, метровые бюсты Вагнера и Шиллера, Бетховена и Гёте. Те, прежние, коронованные, получившие хотя бы и домашнее образование, понимали по крайней мере, что на мир у них руки коротки; Хлородонт же нетерпелив и жаден, как и подобает высокочке. Мошна велика, умишка мало, одно слово: Хлородонт!.. Если прибавить сюда неутолимую жажду реванша плюс погрясённую промышленными кризисами экономику и величайшее невежество в отношении соседей, из которого проистекли презрение к людям иной крови и, следовательно, уверенность в лёгкой блиц-победе,— неутруднительно было и раньше сообразить, куда выводила эта дорожка. Можно было также предвидеть и пораженье, потому что немыслимо, в конце концов, помирать за гвоздь!

Теперь бездомная мокрица бродит по дорогам Германии, от одного каменного нагроможденья к другому. Вокруг чего теперь объединяться германскому духу, во что рядиться омерзительному тевтонскому культуртрегеру? Миф повержен, и армии Объединённых наций прошли по нему ногами. Исторически недолго пожила, хоть и много натворила бед, серая тварь в эсэсовской уни-

форме... Но мне не жаль разрушенных галлерей и феодальных замков, соборов и дворцов и других тюбиков из под Хлорэонта. Новые люди, которые пока госят кубарии среди развалин да винсвато улыбаются красноармейцам, когда те дарят им конфетку, построят на голом месте здания более достойные людского племени и соответственные духу наступающей эры.

Тем легче будет им это, что не вся Германия была отравлена наркотиком фашизма, хотя, к несчастью Германии, именно бургеры и гросс-бауэры оказались в те годы её ведущей силой. Есть съё другая Германия, немногочисленная пока Германия тех, которые в годы наивысших гитлеровских успехов, в одиночку, боролись с фашизмом. Я имел время перелистать лишь десяток гестаповских следственных папок о таких смельчаках, куда подшиты, кроме материалов дознания, их рукописные листовки и счета по расходам на казнь; по фашистским порядкам семья осуждённого обязана была оплатить труд палача и погребенье казнённого. Советский боец Марк Шапиро подарил мне в гитлеровской канцелярии простенький, едимо — сорванный с груди безвестной жертвы, значок с неумелым изображением красноармейца и немецким девизом — «с Лениным вперёд». Этим людям, живым и мёртвым, как бы мало ни было их пока, принадлежит демократическая будущность Германии.

Ирма ещё не плачет, но слабое и неопределённое пока движение намечается уже в народной массе. В промышленном городе Хемнице, где на 260.000 жителей приходится 65.000 рабочих, не так давно позвонили военным властям о каком-то необычном для нынешней, затихшей Германии, шествии. Советский комендант отправился взглянуть по долгу службы. Тысячная толпа двигалась по центральной улице в направлении к нашей комендатуре, и посреди её плясал голый, весь до макушки заплёванный человек. Ему играли на аккордеоне и придерживали на

арканах, так что плясал он не по своей воле. Это был только что изловленный гаулейтер Саксонии, личный друг Гитлера, Мучман. Факт, разумеется, любопытный, но вряд ли следует перегружать его пока особыми смыслами. Что это? Естественное озлобление на свергнутый режим, доставивший Германии неисчислимые бедствия, или же безоговорочное, всенациональное отречение от вековой мечты о завоеванье мира? Победителям Германии следует быть осторожными в суждениях.

Всё неясно пока, как в этом скучном осеннем дождике, что моросит сейчас над Германией. Саженые леса шпалерами, как по команде «хальт», стоят во всю длину нашей дороги. Всё в порядке, будто ничего и не было. Но изредка промелькнёт штабель аккуратно сложенного битого военного железа, подготовленного к отправке на переплав, да ещё вспыхнет, как пламя в тумане, красные, одетые цветами, могилки наших товарищей по славе и победе... Наконец-то Эльба и Дрезден, когда-то — славянский городок Драждяны. Машина проходит через центр, до такой степени искрошенный последнею американской бомбёжкой, что вряд ли что-нибудь здесь подлежит ремонту. Пусто, как в Помпее. Невозможно распознать, чем всё это было во времена курфюрстов, не скольких Августов, тащивших сюда сокровища со всей Европы. Вот что сделал из Германии последний её правитель. Здесь сохранился лишь постамент от памятника Лютеру, которого сшибла наземь взрывная волна. Красноармеец влез на пьедестал, пока его приятель возится внизу с фотоаппаратом. Когда-нибудь Мартин вернётся на своё место, но где-то на стене воронежской избы сохранится фотокарточка, и на ней будет улыбаться хороший русский парень, сиявшийся во всей своей армейской красе посреди немецкой Флоренции, как когда-то называли Дрезден...

Лютер лежит безрукий, на боку. Он как бы отвернулся

от неба, потому что и небо отвернулось от него. Рядом стоят его медные сапоги. В зеленоватой глазнице скопилась дождевая вода. Он как бы плачет. Не верю тебе, Мартин Лютер. Небось, и поверженный ты ещё полагаешь в тайне, что немецкий гвоздь самая превосходная штука на свете!..

Германия.

«Правда», 24 октября 1945 г.

Нюрнбергский змий

Следуйте за мною, я поведу вас в здание Нюрнбергского суда. Мы двинемся из Гранд-отеля прямо на северо-запад, вдоль бесконечной шеренги фантастических развалин. При виде их плохо верится, что ещё недавно сюда ездили паломники полюбоваться на домик Дюрера и витражи Гиршфогеля. Нет у нас дорогих воспоминаний в Нюрнберге; ни Дюрер, ни Меланхтон не сумеют обелить позднейших прегрешений Нюрнберга; нас не тронут поэтому эти битые черепки и нечёсаные космы рваной арматуры.

Нам придётся итти долго, пока не станет тошно от зрелища опустошения и встречных теней, которые будут опускать перед нами дряхлые тысячелетние глаза, чтобы взглядом не прожечь на нас одежды,—итти пока не остановит часовой. Это случится возле громадного серого дома с дверьми, как могильные плиты. Американский солдат искоса взглянет наолосатый пропуск и бросит сквозь зубы:—о-кэй. Потом нас поглотят лабиринты коридоров и лестниц, полные простудных сквозняков и людей, со всех концов мира притягивающих сюда вороха протоколов и улик. К десяти все займут отведённые места, и тогда вступит в действие сложный механизм Международного Военного Трибунала.

Пока не ввели обвиняемых, оглядите просторный зал. Здесь и в сумерки стонет ровный электрический полдень: ничто не ускользнёт от внимания судей. Смотрите, над

дверьми, ещё от прежних времён, сохранились эмблемы правосудия — весы Фемиды и библейские скрижали с правилами общественного поведения. Сегодня они читаются несколько иначе, чем в моисеевы времена. «Не убий, не укради труда брата твоего, не пожелай добра соседа твоего, ни хлеба и нефти, ни жизненных пространств его, и тогда не постигнут тебя фугаски возмездия или сиротство и слёзы—малюток твоих, или сердца народа твоего—горькое разочарование разгрома!». Несколько ближе, на том же уровне, два голых бронзовых парня с мечом и ликторским пучком, образы воинствующего фашизма, стерегут большой гербообразный барельеф. На нём изображено грехопадение Евы. Хитрый змий обвил древо познания, и женщина уже взяла в руку яблоко непрощаемого греха...

В глазах европейца эта картинка должна приобретать теперь особое символическое значение, если только на место Евы подставить самую Европу. Для полноты впечатления надо здесь припомнить географию гнусных событий, произошедших за последнюю четверть века в Германии. Трём своим именитым согражданам — рыцарю Мартину Бегаиму, Христофору Денинеру и Петеру Генлейну—Нюрнбержцы соответственно присваивают изобретение глобуса, кларнета и часов. Однако бегло полистав историю материальной культуры, легко опровергнуть эту самонадеянную немецкую «липу», к слову, ничем не отличающуюся от прочих сомнительных доказательств германского превосходства. Нынешний, догола раздетый бомбардировками город Нюрнберг останется в памяти потомков как родина неплохого местного пива, фаберовских карандашей и в первую очередь фашизма.

Именно из здешней каменистой почвы вырвались первые языки дьявольского пламени, в короткие сроки пожравшего пол-Европы. В 140 километрах южнее Нюрнберга и почти на том же меридиане расположен другой фашистский город—Мюнхен. А на расстоянии трёхсот-

пятидесяти километров к северо-востоку валяется нынче, как босяк в похмельи, утопая в серых каменных лохмотьях, город Берлин. В этот треугольник по существу и вписана вся преступная биография Адольфа Гитлера и его банды, которую сейчас введут в зал под охраной тринацати рослых американских парней.

Над покойником принято перечислять главнейшие этапы его жизненного пути. Признаёмся, кстати: приятно по-говорить над свежей могилкой такого мертвеца. Нюрнберг был, так сказать, начальным очагом всех европейских бедствий. Здесь находилось здание имперского партейтага, здесь созревала теория империалистического паразитизма, отсюда, пока вполголоса, Гитлер бормотал Германии свои подлые обещания свернуть шею всей негерманской части человечества. Отсюда заговорщики рванулись к власти на Берлин, и в ту пору мы навсегда запомнили истерический, уже во всю глотку, визг фюрера, портивший все радиоприёмы мира. В этой столице бредовая мечта о завоевании планеты приобрела облик реальной угрозы. Но вспереди был ещё Мюнхен, за которым расстипалось уже свободное поле для надмирного владычества. Здесь-то и приняла Европа кровавое яблочко Гитлера.

Не будучи провидцами, мы, однако, могли бы полностью привести блудливые и тёмные речи, которые в те дни змий нашептал в ухо женщины. Чаще всего там употреблялись слова: Россия, Восток, славянство, революция, Азия, еврейство, большевизм, Советы—обычная и скучная октава всех фашистских шарманок мира. Вскорости после того Европа захрустела в кольцах гада. Мы ещё не подсчитали, сколько мир потратил денег, металла и молодых жизней, чтобы вогнать фашистскую заразу назад в нынешнюю нюрнбергскую берлогу.

Про Мюнхен мы напомнили не затем, чтобы испортить ленч какому-нибудь благородному господину, а лишь потому, что нам известна живучесть искусителя. И верно:

гадина схвачена за горло, и вставлена туда стальная распорка, и вырван ядовитый зуб; теперь это просто длинная кишка с тухлой политической начинкой, обвисшая на дре-ве. Но значит ещё не полностью обезврежен змий: ещё сипит разверстая пасть, и все слышат, как знакомая отправленная ложь каплет из неё на землю. Опять и опять кое-где склоняется ухо женщины послушать ядовитую брехню про несуществующие козни Востока, про Россию, про прямой, простой и добрый народ, которому,— так и быть, выдам эту страшную тайну! — действительно опостилило 28 лет назад жить прежним варварским порядком, где всё сильное пожирает всё зазевавшееся, где призванием человека считается умножение нулей на текущем счету, где за маленьких вступаются лишь, когда их убют сто тысяч сразу, где война есть выгодное коммерческое предприятие, где помирают с голода на грудах гниющей пищи. Величайшие освободительные добродетели народа моего ставятся ему в вину.

Кажется, на всех языках мира существует сказка про Змея-Горыныча. Уж верно нет такой старухи на земле, чтобы не сказывала её затихшим внучаткам в глухую мятельную ночь: на высокой королевской горе змей жжёт и жрёт прекрасную земную красоту, нет на него ни упра-вы, ни устрашения. Его развалий мечом на части, а он срастается,— руби ему по сто раз пакостную его башку, а она, глянь, вновь пристала на прежнее место. Но вот является светлый витязь из неизвестной страны, с лёгким святым мечом и особой сноровкой на одоление гада, и начинается огненный поединок, и распадаются смертные змеиные кольца, и ярче начинает светить солнышко в небе. Этим заветным секретцем, величайшим изобрете-нием нашего века, которого, кстати, мы не пытаемся утаить от других народов, владеем сегодня только мы. И потому верю я, что тысячу лет спустя безымянный герой в этой отличной неумирающей сказке приобретёт нацио-

нальные черты моего, советского народа. И уж коли на то пошло, поговорим начистоту: может, незачем мне было оглядываться на горькую пустыню, откуда вывел нас Ленин? Мы уже вступили в обетованные рубежи, и пусть прочие раскомаривают себя как им вздумается. Правда, слов нет!.. но только этот вчерашний день уже не одним набегом пытался вытоптать наши неокрепшие сады: у нас доныне рвутся мины в полях, а наши сёстры юятся с детишками в землянках. Нашего ущерба не возместить, если даже всю Германию на сто лет вперёд продать. Мы этого забыть никак не можем!

Нет, мы не гости в Германии и не паломники в Нюрнберге. Из этого злосчастного города мы хотим обратиться к женщинам земли, чтобы не допускали вредной и растгевающей лжи до своих ушей, к женщинам, от которых произойдут завтрашние поколения их поэтов, учёных и солдат. Время имеет склонность течь, история — смеяться, дети — достигать призывных возрастов. Сегодня у вас хватит собственного опыта продолжить эту мысль до конца. Если в первую мировую войну, мирясь с надвинувшимся ужасом, уже не о счастье для своих детей молили вы небо, а только были бы сыты, то ещё недавно даже не о сытости шла речь, а лишь остались бы целы, пусть даже в звериной трущобке, пусть даже один на пятерых!. Всё что наделал змий в Европе.

В этом свете поистине великую историческую миссию предстоит выполнить нюрнбергским судьям. Миллионы заплаканных человеческих глаз устремлены на них из всех углов мира. Вдовы и калеки их собственных стран ревниво будут следить за каждым их движением и словом...

...Было безлюдно в то серенькое утро у здания суда, когда мы подошли к нему впервые, но чувствовалась какая-то зловещая стеснённость в этой пустоте, как будто все умерщвлённые фашизмом столпились вокруг — услы-

шать слово воздаяния и обновлённой правды. Прозорливой мудрости ждёт нынче человечество от нюрнбергских судей. Однако, мнится мне, что не за тем только послали их сюда оскорблённые и разгневанные народы, чтоб анатомировали распластанное и ещё живое тело германского фашизма, а затем предали его, разъятое на части, в архивные склепы истории. Следует, кроме того, пошарить в пасти змия, нет ли там и второго ядовитого зуба, который угадывается нами по беспрерывному истечению лжи.

В добрый час, нюрнбергские судьи! Вот они вступают на высокую трибуну правой стороны, и зал встаёт; верится, что одновременно с живыми поднимаются мученики Майданека и Дахау, делегаты мёртвых, которые незримо, без пропусков, присутствуют здесь. Сощурясь и чуть снизу смотрят на судей шестнадцать матёрых и лукавых, в чёрных мантиях, немецких сутяг, которые нашли в себе решимость защищать недавних палачей Европы. Они напряжены, как на ринге перед боем, и молчаливы пока, но это будет долгий и многословный бой права и произвола, разума и скотства, правды и лжи.

Змий ещё усмехается — щелястым ртом Иодля, глазами Кейтеля, небрежным жестом Геринга, но по мере того, как будет сжиматься петля обвинения, змий станет изворачиваться всё ловчее и злей, скидывая с себя одну за другой прозрачные маскировочные шкурки. Он прикинется культуртргером и мыслителем, защитником наций и избавителем Европы. Он заговорит о неподсудности правительства, потому что якобы в самом поражении заключается возмездие, — о рыцарском отношении победителя к побеждённым. Он произнесёт бесконечно подлые, хитрые слова, начинённые политическим динамитом, — вроде тех зажигательных сигар, которые подсудимый Франц Папен пачками раскидывал когда-то по Америке. Так бу-

дет, пока окончательным приговором не вышибут дух из змия, и все его двадцать голов обвиснут разом.

В тишине шумят судейские фолианты — улики. Пока ещё только бумага — не волосы, срезанные на утиль с обречённых женщин, не пергаменты из людской кожи, не фосфориты из детских костей для удобрения капусты в фашистских подсобных хозяйствах. Через внимание суда неторопливо проплывают страдальческие судьбы смежных с Германией государств, которые Гитлер, как подсимволики в роще, собирает в грабительскую кошёлку рейха. В длинных формулах, плотно сотканных из одних придаточных предложений, сквозь которые не просочится ни одна слезинка, доказывается шаг за шагом агрессивность германского поведения... Итак, например, вторично, уже путём научного исследования, узнали мы, что Чехословакия была распята немцами с заранее обдуманным намерением. Довольно старая новинка! ...но это делается не только для нас, которые узнали об этом из свежего газетного листа, но и для тех, кто прочтёт про это сто лет спустя в учебниках истории. Надо хорошо укрепить грунт, где будет начертано вечное проклятие фашизму.

Так установилось у людей: вступая в зал, суд ничего не знает о преступлении и, до предъявления доказательств, построенных по всем правилам юридической математики, не верит ничему. У справедливости нет ни родни, ни гнева, ни акром, кроме тех, элементарных как вода и хлеб, без которых самое понятие о справедливости давно погасло бы в человеческом мозгу. Здесь факты отбираются самого чёрного цвета, и улики, заранее обесцвеченные от эмоциональной окраски, взвешиваются на аптекарских весах правосудия, прежде чем станут материалом для приговора. Значит, процесс судопроизводства будет очень длинный, хотя для немедленного предания смерти этих высокообразованных негодяев достаточно было бы рассмотрения

повести об одной и любой девчоночке, брошенной живьём в крематорий Освенцима.

Уверяют, будто целых девять тонн обвинительных документов имеется у международной прокуратуры. Все, самые святые книги мира не весят столько... Но хорошо, мы будем слушать всё, мы обрекли себя на это. Чем больше улик ляжет на шею злодейства, тем глубже уйдет оно на дно. Подчиняясь течению процесса, я сам хочу забыть все представления, которые сложились во мне об этих людях. Нет, я не читал газет за эту четверть века, не стоял с мокрыми глазами на развалинах Чернигова и Пскова, не ходил по человеческому пеплу Бабьего Яра, не держал в руках обгорелого детского башмачка в Бельзене, откуда уходишь, шатаясь, как пьяный, стыдясь своего человеческого естества. Я впервые слышу про Адольфа Гитлера и не хочу знать пока, что такое Даахау,— вулкан в Америке или имя какого четвёртого нюрнбергского рукодельца, осчастливившего человечество изобретением клозетного прибора с музыкой.

Мне нужно заново перелистать историю страшного заговора и, независимо от моих личных привязанностей или антипатий, вынести суждение о злодействе. Кроме того, отправляясь в Нюрнберг, я дал себе зарок не браниться, как прежде, по адресу преступников войны. Правду не украшает и самая меткая ругань, а презрение невольно умеряет былую ярость. Каждый гражданин моей страны испытывает к этим людям то же чувство и в той же мере, что и я, и у меня нехватает дарования усилить его в двести миллионов раз.

Итак, я стремлюсь быть точным. Они рассаживаются в пятнадцати шагах от меня, жёлтые, поношенные, седые. Они отличались спортивной жизнерадостностью, когда составляли инструкции по германизации Европы или «план Барбаросса»; линять они начали, лишь завидев собственный конец. Эти уже не чета плебеям Бельзена и Освенцима.

пима; эти не рядовые громилы, подводные пираты и по-трощители, но мастера и аристократы своего дела: Звериная хитрость, этот разум подлости, светится у каждого в глазах, и любого из них дьявол взял бы себе в министры.

Есть странная, всякому известная, почти гипнотическая увлечательность в созерцании гада, когда хочешь и не можешь оторвать от него глаз. И вот мы часами смотрим на этих земноводных, стараясь прочесть их нынешние мысли. Но гадина живёт в земле и стремится увернуться от человеческого взора, как бы стыдясь наготы и безобразия, а эти господа ведут себя с показной и непринуждённой изысканностью, как на дипломатическом рауте, будто они здесь сами по себе, а янки с дубинками и полуเมตรовыми пистолетами вокруг них — всего лишь дворецкие, расположенные там и сям с чисто декоративной целью. Изредка, впрочем, вспомнив о том, что каждая такая вечеринка когда-нибудь кончается, они начинают заниматься душеспасительным дивертишментом на тот случай, если кто-нибудь поблизости понимает немецкий язык.

«Кто же это придумал такие зверства с евреями?» — осведомляется Бальдур фон Ширах у Геринга, и тот отвечает оному Бальдуру с сокрушённым пожатием плеч, что, дескать, этот бродяга Гиммлер напаскудил столько на их неповинные головушки. Их здесь только двадцать. Как острят наши в Нюрнберге, Крупп фон Болен — болен, а Лей заблаговременно сбежал на тот свет, как и трое главных заправил германского рейха.

А жаль, дорого дал бы мир за то, чтобы хоть пальчиком их коснуться... Зал залит жёстким американским светом; многие из этих фашистских полубогов надели тёмные очки для сохранения глаз, хотя они, глаза, уже не очень потребуются в их дальнейшей деятельности. Кое-кого из этих поганцев можно и теперь ещё узнать по фото, раскинутым по газетам и журналам в пору их блистательного

величия. Окинем их последним взглядом, прежде чем до завтра покинем зал суда. Вот Герман Геринг, с перстнем на руке и лицом притоносодержательницы. Всласть попила человечьей кровицы эта мужеобразная баба. Разумеется, сие не надо понимать буквально. Кто же сможет выпить сырьём целые озёра липкой и тёмной жидкости, выцеженной из обитателей пол-Европы? Но её перегоняли в государственной германской реторте, путём длительных операций, в концентраты пищи, роскоши, боеприпасов, которые точно так же являлись деликатесами для этих типеславных душ. Сидя в просторном, с запасом на пузо, мундире, который висит на нём, как пижама, он всё занимает что-то: видимо, готовит нечто вроде самоучителя по международному разбою.

С ним рядом Гесс с адамовой головой, как на аптекарской склянке с ядом. Уже теперь это карикатура на самого себя. Правда, он осунулся, будто у него туберкулёт, но имеются все надежды, что ему не удастся умереть от туберкулёза... Дальше следует душка Риббентроп, утративший вконец свою прежнюю мужскую прелест: мешки под глазами, и брови взведены как у балаганного пьера. Скоро он будет выглядеть ещё хуже. С ним сейчас беседует, наклонясь из второго ряда, Папен, старый вредитель и основатель шпионских баз в разных странах мира. Эта лиса с неандертальским лицом много в своё время проточила дырок в обороне США. У него и теперь приятели везде остались: в Турции до сей поры скулит по нём осиротевший Ялчин.

Посмотрите также и на Фрика, стриженое и тощее животное, вроде меделянского пса, с злыми чёрными глазами. Он всё жуёт, а в антрактах откровенно шепчет проклятия... Вот поднялся с места Шахт, старый пифон с лицом совы. За ним — Штрейхер, который судился двадцать раз за все виды распутства. Пока мы разглядывали этих, остальных уже увели. Оставим их до завтра.

* * *

Я рад, что в этих описаниях мне удалось быть точным и избежать прямой браны. Я не знаю, как поступят с ними дальше — публично повесят возле рейхстага или проявит милость присуждением расстрела, или, по способу Геринга, положат на спины и рубанут по шее, так что до последнего мгновения будут видеть они топор возмездия, — я знаю только, что для всего живого на земле — они уже мертвцы.

Во изменение латинской поговорки, старый Бекон советовал говорить о мертвцах или ничего, или правду. Я сказал правду. Конечно, это ещё не некролог. Некролог будет позже. Он будет иметь видимость осинового кола. Мы вобьём его по правилам народной приметы, чтобы остирём прошло через чёрное сердце вурдалака, и притопчём землю вокруг. И будет проклят этот клочок земли до скончания веков, пока ходит солнце в небе и радуется ему хоть один человек на земле!

*Нюрнберг.
«Правда», 2 декабря 1945 г.*

Людоед готовит пищу

Время в Нюриберге измеряется количеством документов, оглашённых обвинением. Сегодня был прочитан сто сорок третий, и неизвестно пока, на сколько частей разделён нюрибергский циферблат. Мы знаем лишь, в какую сторону движется время Трибунала. Когда судебные папки будут исчерпаны, зал опустеет, и все разойдутся отсюда: одни — чинить исковерканный лик земли, другие — в могилу.

Одним преступникам известно, как громаден список их злодействий, и, видимо, это внушиает им веру в бесконечную отсрочку кары. Они зевают и гладят усы, шепчутся, вспоминая минувшие дни, где вместе рубили они, или знакомятся с мировыми новостями из-за плеча защитника, который предупредительно развернул перед собой газету. Это не мешает им с одинаковым интересом слушать речи обвинителей. Убийце всегда бывает любопытно, как звучит его мокрое дело на мудрёном юридическом языке...

История не раз оглядывается на процесс в Нюриберге, и потому никогда судебная наука не выступала во всеоружии таких точных аргументов и беспощадных улик. Юридическое слово объемлет преступление, как тисс, и сленки тем лишь отличаются от оригинала, что не извиваются в смертных муках, не смердят горелым детским мясом. Всё это пока лишь пища для ума, но не сердца, в зал сидят не внесли пылающих и окровавленных трофесов фашизма. От-

того-то слишком уж бесстрастна эта тишина и спокойны обвиняемые, и зачастую пусты места мировой прессы, которая, как всегда, больше занимается описанием взгляда, каким Герман Геринг проводил пригожую девицу из подсобного судейского персонала, чем обстоятельным рассмотрением очередного документа.

Единая чёрная тема, как ночная тьма, объединяет эти бесчисленные и разнообразные улики. Они обступают нас подобно дремучему лесу, где ещё недавно бродил зверь и навзрыд кричала жертва. Когда упал сюда солнечный луч, стало ясно, что все деревья здесь одной породы и любое годится на виселицу. Тут и поучительные записки Госбаха с изысканиями, как проводить максимальные захваты с наименьшими издержками, и директивная лекция Иодля имперским гаулайтерам, и архивы гитлеровского адъютанта Шмундта, раскопанные в погребе близ Берхтесгадена, и обстоятельное руководство о пользовании душегубками, и меморандумы фюрерских бесед со сподручными, и планы — зелёные, красные, всех цветов, планы об атаках во все стороны мира. По горькому опыту мы знали и раньше о подлинном лице Германии, но только теперь становится ясным, какая чудовищная фугаска зрела в эти годы на всеевропейском огороде.

Документы, оглашённые в речи американского обвинителя, полностью обнажают змеиную мудрость наглец ев, на которой была основана германская стратегия безотказного действия. Высшее образование пригодилось фашистским господам, но страшно, когда человеческая культура становится рабыней подлости. Здесь помянуты и пущические войны, и варварские достоинства Чингис-хана, рассмотрена эволюция христианства и взвешено бриганское государство, не забыты ни войны Фридриха, ни воинские упражнения Бисмарка. Здесь можно найти пс-немецки самоуверенные суждения о врагах и старых приятелях — вроде того, что «ни в Англии, ни во Франции нет

людей того масштаба, как у нас» *) (причём это определение Гитлер высказал едва год спустя после Мюнхсна), или — что «после смерти Кемаля Турция управляет мелкими душонками, слабыми людьми» (тот же документ, разговор Гитлера с главнокомандующим 22 августа 1939 года).

При этом поражает ясность мышления убийцы, и наверно сам Раскольников не обдумывал с такой тщательностью убийство своей старухи. Планы нападения на мир составлены с хладнокровием, обстоятельностью и с привлечением исторических сведений об экспансиях прошлых веков, в них рассмотрены всевозможные варианты побед, но не поражений. Разумеется, смертоносный заговор был замаскирован здесь в отвлечённую штабную формулу, на которую немцы всегда были великие мастера. В этом свете, к примеру, удар финкой между лопаток выглядел бы приблизительно так — «ввести инструмент германской воли с внезапностью и в темпе, который обеспечил бы действенное проникновение к жизненным центрам противника, достаточное для парализации его сопротивления».

Внутреннему содержанию этих документов, написанных с ледяным селцем и подписанных безжалостной рукой, соответствует и внешний стиль их. Это тон абсолютного превосходства, и стоит привести несколько образцов, чтобы наглядно показать, что только ничтожество может вешать голосом такого неестественного тембра. «Я принял решение раз и навсегда». «Я обладаю твёрдой волей принимать жестокие решения». «Наша цель — уничтожение жизненных сил Польши, а не только завоевание её пространств»... Нет, эти деляги хорошо знали всё наперёд и не могут теперь винить судьбу в несправедливом обращении с ними. «Всякая экспансия идёт параллельно с подвержением себя риску», или — «Несомненно, многие миллионы умрут от голода (в России!), если мы вывезем те вещи, которые

*) в оригинале сказано крепче.

рам необходимы». Но самый живительный афоризм Адольф Гитлер подарил немцам всё в том же разговоре с главнокомандующим, и можно представить, с каким трепетным изумлением впитывали академики войны эти ефрейторские откровения, которые и в каменном веке выглядели бы довольно плоско. «Всё зависит от моего существования. Никто и никогда не будет в такой степени обладать верой германского народа, как я. Моё существование — фактор величайшего значения». Что ни говори, а в этот денёк фюрер был в ударе!

Дальше оставалось лишь возведение себя в ранг божества и вознесение на тридевятое небо, откуда его со временем и повергла Россия, смывшая огнём его неприступные бастионы и обратившая наземные полчища в колонны голодных и плакучих бродяг. Но, значит, именно в ту пору имелись у этого господина с чаплинскими усиками какие-то удачи позади, от которых он одурел в такой безнадёжной степени. Мемель и Судеты не были такими кусками, чтобы насытить желудок людоеда; австрийская операция была лишь промежуточным шагом к овладению Центральной Европой. Нужно было подвести волчью челюсть с юга, под Чехословакию, и с устрашающим хрустом замкнуть её на глазах у почтенной публики. Это и было сделано. Как тут не взвыть от ликования! Теперь наглость могла безнаказанно смотреть в лицо демократиям мира. Если он промолчал при прежних, легкоатлетических фортельях, он стерпит и последующие номера уже окрепшего, нараставшего себе мускулы гиревика, вооружённого железной штангой и хватившего такую чарку кровавого шнапса.

Овладение Чехословакией явилось плодом длительного и хитрого расчёта. Германия давно вопила, что данная страна провоцирует её, и это было в той же степени верно, в какой ягнёнок может раздражать волка нежностью

своего вида и сытностью мясца. Я несколько усиливаю это сравнение американского обвинителя — не за тем, чтобы умалить внушительный военный потенциал Чехословакии, а для надлежащего представления о размерах и аппетитах хищника. Однако германские штабисты понимали опасность длительной и своевольной игры с мирным соседом. Следовало поэтому втереть кому надо очки, взмутить воду, поставить всемирную дымовую завесу над Чехословакией. У деревенских коновалов существует такой древний деревянный прибор — «лещётка», которым выкручивают до боли губу коня, чтобы отвлечь его внимание от короткой, но мучительной операции. Вот Европу и взяли в лещётку. Ей снова крикнули на ухо про русский большевизм, как кричит воръё про пожар на театральном разъезде, собираясь чистить карманы простофиль. Приём достаточно устаревший, но до сей поры не вышедший из употребления. И пока окосевшая Европа тупо взирала на спокойно-величавые башни московского Кремля, германские хирурги исполнили свою чёрную работу.

Даже теперь, когда всё в прошлом, трудно охватить полностью эту книжальную последовательность гитлеровских мерзостей. Дело началось с нескольких фашистских яичек, брошенных из Германии в Судетскую область Чехословакии. И без того питательную эту среду дополнительно сдобрали соками из германского казначейства. Скоро из яичек вывялились чёрвячки с Конрадом Генлейном во главе, первые судетские штурмовики, принявшие 21 пункт нацистской программы. Вначале эта кучка отрицала свой пангерманализм, но уже к 1937 году открыто загорланила о праве чехословацких подданных исповедывать «германскую политическую философию». Этот Генлейн, которого забыли своевременно обратить в навоз, и был кончиком ножа, уже вдетого под местной анестезией в тело Чехословакии. Под его началом в Судетах множи-

лись гребные клубы, хоровые кружки, где пели фашистские псалмы и учились стрелять по чехам. Близилось время, когда эта коричневая нечисть построится в добровольческие корпуса, которые Кейтель секретным приказом подчинит Гиммлеру.

А впрочем, к Чехословакии или к Европе была применена эта местная анестезия? Чехословацкие патриоты предупреждали мир о зловещей судьбе своей родины. Но Западная Европа молчала, словно некому было прекратить эту войну нервов, пытку ужасов, этот нестерпимый круглосуточный барабанный бой под окнами страны... Германия уже открыто браконьерствует на суверенной территории соседа. «Руководители рейха, как сказано в обвинительном документе, проявляют живой интерес к сведениям разведки о состоянии Чехословакии». Немецкий военный атташе рыщет в приграничной полосе, подыскивая аэродромы, пока, поселившись у промышленника Мазхольдта, не находит их во Фрейдентале. Гестапо каждую ночь вывозит в Германию, с кляпами во рту, тех, чьи жизни портят пищеварение Адольфу Гитлеру. По существу, сценарий уже готов, и режиссёры в немецких мундирах приступают к постановке самого лютого фильма в истории земли...

Итак, Прага на мушке. Подготовлены железнодорожные составы и орудийные площадки, даны задания четырём германским армиям, которые венный час хлынут за горные рубежи. Уже условлено с Геббельсом, какой ложью надлежит одурачить совесть мира с радиостанций Вены, Мюнхена и Бреслау. Составлены таблицы возможных нарушений международного права с конкретными примерами, вроде уничтожения британского посольства при бомбёжке чехословацкой столицы. Будущий гаулайтер Нейрат зубрит, как будет по-чешски — «повешу», «на колени», «расстрелять». Уже предлогом для нападения, по совету Кейтеля, избрано убийство германского посла,

которого застрелит подходящая сволочь, чтобы через минуту быть самой расстрелянной. Не решено пока, утренние или вечерние часы удобнее для вторжения: Гитлер ждёт благоприятных астрологических предзнаменований.

Время от времени эти махинации притеняются беседами или договорами с соседями о взаимных уважениях. Разъездной шантажист и усыпитель Риббентроп исходит по столицам мира с коммивояжёрским чемоданчиком, в котором болтаются охриплая пластинка о кровожадности Москвы да склянка с дипломатическим хлорал-гидратом, испытанным зельем, каким усыпляют разинь в поездах дальнего следования. Вечером тем же пером, которым был подписан очередной пакт, он пишет Кейтелью,—готовьтесь, готовьтесь, пока действует снадобье, от которого прочно спится! Сам Гитлер то и дело выступает с песенкой — «спи, моя детка, усни», и она звучит теперь, как колыбельная убийцы над кроваткой жертвы. Спите, миленькие, мы вас не тронем. Наши дальnobойные пушки и эсэсовские ангелы в голубых ризах охранят ваш сон от монголо-славянско-еврейских замыслов Москвы. И вот мир спит, великий храп стелется по планете, пока не разбудят эту напрасно спящую красавицу скрежет немецких танков на Марне и грохот фау над Темзой. Пусть дело было не совсем так: надо же чем-нибудь объяснить до поры грешное бездействие тогдашних западно-европейских правителей, считавших себя стражами мира и политической морали.

— Мы не можем переделать истории Мюнхсна, — с печалью произносит американский прокурор, кажется, впервые называя это слово на заседаниях Нюрнбергского Трибунала.

Затем события валятся на нас, как из короба, и пусть историки на досуге размещают их в стройном хронологическом порядке.— Германия бредит уже о надмирном

владычестве. Ей мало питательного супа из европейских младенцев. Главноначальствующий германский людоед составляет себе меню на несколько лет вперёд — рагу из Чехословакии, отбивная из Польши, солянка из Норвегии, пилав из французского петуха, окорочёк из неубитого северного медведя, в берлогу которого он и сунулся года три спустя. Риббентропа уже нехватает. Адольф сам принимает участие в сговорах. Встретясь на пароходе «Патриа» с Хорти, Имреди и другими людоедами районного масштаба, он предлагает им долю в будущем пиршестве и бросает фразу, ставшую крылатой на Нюрнбергском трибунале, — «всякий, кто хочет участвовать в обеде, должен принять участие и в приготовлении пищи». Они расстаются закадычными друзьями, хотя на прощанье Гитлер, наверно, прикинул на-глазок, какого качества рассольник выйдет со временем из этого сухопарого сухопутного адмирала.

Близ этого времени следует несколько предварительных перелётов Чемберлена с островов на материк, которые завершаются знаменитой встречей четырёх — Чемберлена, Даладье, фюрера и уже немножко несправедливо забытого всеми Муссолини, того Муссолини, который шесть лет спустя будет по-кабаны головой вниз висеть в Милане, с десятком пуль, размещённых в разных частях его туши. Кажется, это была превесёлая вечеринка, с которой Кейтель веротился в подпитии близ пяти утра и на которой, по существу, Чехословакию просватали в котёл людоедам. То был свежий сентябрьский рассвет, и баварские рощи отливали багрецом, точно обрызганные чужой кровью... Далее появляются надменные приказы: «Я решил», «Я найду политический предлог для молниеносного удара», «Я принял непременное решение разбить Чехословакию путём военных действий».

Всё же осторожность не мешает. Умнее будет — предварительно отгрызть Словакию в том месте, где она тон-

кой осиной талией, по изящному выражению Иодля, соединяется с Чехией. И вот рано утром в Братиславу со свитой из пяти угрюмых, непроспавшихся генералов прибывает Зейсс-Инкварт, известный нам по четвертованию Австрии. На экстренном заседании правительства он объявляет сиплым голосом Бюркеля, что «Словакия должна немедленно объявить о своей независимости (то-есть о разрыве вековечных уз с братским народом!), иначе Гитлер совершенно не будет интересоваться её судьбой». В переводе на человеческий язык это означает, что мелкие тогдашние венгерские и польские людоеды, которые недвусмысленно точат поварские ножи и раскладывают костерки вдоль границы, немедля примутся за дело. Это то самое дело, по поводу которого Хорти телеграфировал Гитлеру — «ваше превосходительство может рассчитывать на мою вечную благодарность». Тиско катит в Берлин подписать гитлеровскую цыдулку. Так бывает только у балаганных факиров: мирное государство накрывается стальной чашкой — эйн — цвей—дрей, и вот уже под чашкой — чистокровный рай! Лишь тогда приспело время вызвать в людоедское логово чешского президента Гаху. Надо кончать когда-нибудь чересчур затянувшийся водевиль. Сей глубокий Мафусаил, утративший все чувства, кроме зрения да слуха, ещё сгодится выслушать резолюцию фюрера и подставить своё имя под бесстыдной фальшивкой. Его сопровождает министр Хвалковский, тоже вполне бесславная личность. Глухая ночь, и как медленно плетётся воздушный извозчик! Эх, спать бы да спать старику, а тут эти непрестанные государственные заботы!..

Гаху вводят в кабинет рейхсфюрера. Всё троится в глазах старика. Гитлер, стоя, барабанит пальцами в стол. Позади него, чуть в тени, Риббентроп, Кейтель и ещё какой-то тучный, трёхголовый господин в фельдмаршальском мундире: понятые! Время дорого, и это не обычный

дипломатический демарш, а разговор с пристрастием, сопровождённый серией иронических усмешек, гипнотических взоров и зубовного скрежетания.

— Я знаю, вы стари, — сухо начинает фюрер вместо извинения за потревоженный покой старца. — Но наша беседа может принести пользу вашей стране. Я благодарен мистеру Чемберлену (за Судеты!), но я не могу отступать за границы моего терпения. Лондон и Париж не интересуются Чехией в данный момент. Я не тронул бы вас, но я вынужден защищать Германию. У вас чрезмерная армия, являющаяся временем для государства. Видимо, у Чехии имеются внешние интересы?

Его голос усиливается до зловещего визга, дребезжит абажур на столе, и сам Геринг дивится этому леденящему голосу: бывает же такой адский дар у людей!

— Я прошу у вас терпения, ваше преисходительство,— шепчет Гаха, топчась на месте.

— Я жестоким образом уничтожу ваше государство, если не будут пересмотрены тенденции Бенеша. У вас считанное время. Сейчас два десять ночи. В шесть пятнадцать мои войска войдут в вас со всех сторон. Против каждого чешского батальона стоит немецкая дивизия. Я решил окончательно. Уйдите и обсудите.

Гитлер и его последователи обожали помахать револьвером на виду у жертвы, но этому старику за глаза хватило бы и полпорции такого страха. Ему дурно. Хвалковский вытаскивает бесчувственного шефа в соседнюю комнату, где врач в эсэсовской форме корректно вкладывает ему в рот горькую облатку от дрожания колен. Ах, какая глухая средневековая ночь стояла тогда в срединной Европе!

Старца вводят обратно.

— Я понимаю бесполезность сопротивления, но сомневаюсь, что успею отдать приказ о разоружении армии,— лепечет он, облизывая горькие губы.

Ему вставляют в руку перо, и тот же трёхголовый господин придвигает огромный лист бумаги, который останется в истории актом величайшего всестороннего предательства.

«Президент Чехословацкой республики с полным доверием вручает судьбу чешского народа и чешского государства в руки фюрера и рейхсканцлера Германской империи».

— Ну, подписывайте — и бай-бай,— сердясь, шепчет Геринг. — Иначе пол-Праги будет обращено в руины за два часа. Остальное я доделаю после. Ну же, ничего страшного: вы войдёте в состав райха, и фюрер дарует вам новые формы существования.

И Гаха, которому история в обмен на его уже выпитую жизнь предлагала бессмертие, исполняет приказ, хотя известно, какие формы существования приобретает через два часа тот, кто вступает в желудок людоеда. Семидесятидвухлетний кролик, кряхтя и в полном президентском облачении, лезет в пасть удава; господин Хвалковский, придерживая сзади за каблуки, пропихивает его превосходительство в вонючую могилу бесчестия. Пасть сомкнулась, сеанс животного магнетизма окончен. Через час выйдет приказ фюрера.— Чехословакия прекратила существование.

Это была очередная подлая немецкая ложь для возбуждения штурмовой ярости верноподданных... Прекрасная страна кротких тружениц и строгих героев, лежащая в голубой горной чаще, полная тихих прозрачных долин, где плывёт, как музыка, славянская речь, страна-Китеж, Чехословакия, которую издали ровной и бескорыстной любовью дарит мой народ, не погибнет никогда. Она выжила и раньше, когда тевтонская волна бушевала вокруг наивных вагенбургов Яна Жишки, она тем более выживет и впредь, зная, в какой части Европы проживают её

честные, несколько суровые, но не суесловные друзья и братья.

Доброе утро тебе, милая чехословацкая сестра!

* * *

Я сижу в здании суда, и пока незатейливо свиваются один с другим умные завитки юридической речи, сопоставляю впечатления минувшего дня. В очередном документе мне напомнили слова Гитлера о том, что для решения жизненных задач Германии потребуются усилия двух-трёх германских поколений. А вчера пастор нюрнбергской церкви недвусмысленно внушал немецкой молодёжи, в какой степени зависит от неё будущее Германии. А здешняя газетка подарила нас сегодня известием, что известный фашист Мосли с твёрдой и непреклонной решимостью намеревается возобновить в Англии своё дело... Я слушаю о нарушениях Германией договоров и гадаю: наступит ли время, когда и без договоров людям не придёт в голову жарить ребят в крематориях и обрушивать целые вулканы на спящие города, как никому здесь на процессе не приходит, например, в голову плонуть в ухо соседу.

Как мало надо для полного человеческого счастья и каким трудным кружным путём идёт к нему человечество, хотя это счастье лежит совсем рядом, может быть — на расстоянии его руки.

Нюрнберг.

«Правда», 10 декабря 1945 г.

Тень Барбароссы

Сегодня обвинители молчат, слово предоставлено киноплёнке.

За три часа она подробнее расскажет про вчерашние несчастья земли, чем успела выразить за три недели медлительная человеческая речь. Кроме прямых режиссёров и исполнителей, которые нахохлились в пятнадцати шагах от нас, в постановке примет заочное участие германский император Барбаросса, и, возможно, мы увидим также, как люди с восточного пространства водворили этого знаменитого верзилу назад, под могильную плиту. Пробелы придётся восполнить по памяти. Глядите же, как кралась эта подлая двадцатка к престолу вселенной в потёмах социального людского неустройства.

Гаснет свет, мы погружаемся в недавнюю ночь Европы. На экране председательствует хорошо упитанный и наглый, ещё не слинявший Альфред Розенберг. Они все тогда были моложе во главе со своим вожаком; у него не имелось тогда щёк ни армий, ни даже лишних штанов, потому что германские богачи щёк не приметили из окна это выдающееся дарование. В ту пору щёк росли, мужая в труде и учёбе, и вы, наши владыки наземного рукопашного боя, хранители советского поднебесья, дозорные наших морских глубин, и вы, витязи в танковой броне, о которых искрошились зубы Барбароссы.

Дело начинается с молчаливых шествий по улицам южно-немецких городков... но уже кого-то оживлённо лупят палкой по башке, кто-то бежит, прикрывая шляпой

простреленное брюхо. И впереди, уставясь в точку перед собой, шагает будущий фюрер, весь в нашивках и ярлыках, как чемодан в кругосветном путешествии. В те годы оформлялась нацистская партия, и из его бступительной анкеты мы узнали, что, кроме артиста и полководца, биолога и историка, он считал себя также и писателем. Так крохотные козявки вползают в зрелый плод германского государства, которому затем надлежит упасть и сгинуть в безмолвии всеевропейского презренья, пока не вырастет из уцелевшего семечка новое, без стальных шипов, дерево на немецкой земле.

С обычной кинобыстротой надвигается начальный съезд в чистеньком и ещё совсем целом Нюрнберге, где впервые на большой аудитории разразилась словесная истерика Гитлера. Следуют бесчисленные, строго выдержаные в дикарском стиле, факельные шествия, символические репетиции будущих поджигателей мира, и, наконец, экран заполняет жирная дата — 30 января 1933, когда Германия повергла к стопам маньяка наследие отцов и судьбу своих детей.

История переносит нас на очередное массовое фашистское радение в рейхстаге. Гесс приводит это орущее тысячеголовое быдло к присяге на верность фюреру. Германия требует кровцы на радостях, и вот чернильное логотухое существо, помесь хорька с летучей мышью, кидает ей немецкое еврейство на разговенье. Это тог самый Геббельс, последнейший портрет которого, уже в подгорелом облике, мы увидим впоследствии в фильме о взятии Берлина *Приказчики и зубоврачебные ученики* в приступе тевтонской доблести деловито бьют еврейские окна. Ни одна мать в Германии не задумывается пока, чем окончится эта зловещая клоунада с парадами и кровопусканьями.

Наступает памятный вечер, на площадях рейха пылают книги. Бурши с пятнистыми от дыма рожами поют зау-

нывные заклинания, от которых Барбаросса шевелится и приподымается в своём каменном гробу. Немцы торжественно отрекаются от культуры. Толстой и Шекспир, Ленин и Горький гневным пламенем покидают эту грешную страну. Когда переполнится чаша международного терпения, союзные самолёты без сожаления полетят на трухлявые коробки Мюнхена и опустелые книгохранилища Гейдельберга: в них больше нет святынь. Гори, старая немецкая рубаха, вместе с коричневой живностью, что поселилась в твоих швах! Отныче фюрер, провозглашённый совестью нации, дозволил всё.

Чёрный вечер рождает такое же чёрное утро. Громадное поле, и на нём дети, только что оторванные от игрушек, может быть миллионы, вся завтрашняя Германия, плечом к плечу стоит на этом страшном поле. Все они — белокуренькие, отборной нордической расы, — точно бесчисленные кочны капусты в образцовом огороде. Кто это, ведьма с косой, похожая на Гесса, любуется на свой будущий урожай? Нет, это сам фюрер в высокой фуражке и с опьяневшими глазами, потому что беззакатным мчится ему это утро, даёт обстоятельный урок победения немецким ребяткам. Он учит их — «быть как борзые», учит «безжалостно смотреть в глаза жизни и с благоговением — в пучину смерти». Яд прочно впитывается в детские души; теперь его уже не смоют ни молитвы матерей, ни их собственные слёзы, когда Россия со временем покажет им, как выглядит помянутая пучинка. Они полягут все — в песках Африки, на скалах Крита, под снегами Волги. Обвиснешь на гранёном штыке и ты, рыженький пруссачок, повалившись от снайперской пули и ты, толстощёкий мамин любимчик, потому что и тебе низины фашистской мерзости показались вершинами человеческого мужества. Небритыми, охамевшими стариками, один на тысячу, за виду мёртвым, вернутся когда-нибудь уцелевшие на развалины своих знаменитых городов, заросших бурьяном...

Но это будет потом, а пока они бьют сразмаху в барабаны, волят и маршируют таким отменным гусиным шагом, что сам Геринг, выдавая себя с головой, шепчет на своей скамье — «неплохо, неплохо». Косматые смоляные огни плещутся над бронзовыми чанами, орлы и трёхэтажные хсругви со свастикой, обвитые дымом, переполняют экран. Похоже, что в эту пору Германия так и noctует на своих, уже слишком тесных для такого разгула площадях. Вот построен чудовищный нюрнбергский стадион, с которого фюрер, как из катапульты, швырнёт нацию в бездну длительного исторического небытия. Миллионы будущих мёртвых приветствуют главноначальствующего мертвца; ему рукоплещут благородные старцы в котелках и нарядные дамочки, которым он уже наобещал шепотком — сибирских соболей, крымские поместья и украинских рабынь. Теперь Гитлер всюду, во всех позитурах и на километры плёнки — звезда экрана и худрук постановки, рейхсканцлер Адольф Гитлер, но мёртвая голова Ёсса с немигающими глазницами — неотлучно, как череп на автопортрете Беклина, смотрит из-за его плеча.

Тем временем детки подрастают; «знамёна крови» и другие соответственные возрасту игрушки вручает им верховный немецкий фюрер. Пока боевые корабли скользят со стапелей и воздушные эскадрильи пробными дымовыми завесами линуют небо Германии, в лабораториях готовятся чертежи костедробилок, газвагонов и трупожигательных печей. Идут торопливые сговоры с окрестным жульём: барыш и петля — всё пополам...

С трибуны очередного съезда Гитлер с недвусмысленной ухмылкой грозится пока ещё в безымянные адреса; он как бы хвастается своим топором, приглашая желающих побрить себе плечи вне очереди. И дипломатические гости терпеливо сносят эти примерки не только к их добродетельным сусалам, но и к жизням: будто это не про них! Оно и правда, не про них: по воробьям не бахают из

гаубиц. Мы-то знаем теперь, кому должна была раскроить голову эта отточенная машина в миллиарды тонн. Но прежде чем дойдёт очередь до России, простаки, Гитлер вдоволь наварит мыла и клея из ваших собственных сограждан! Так всегда бывало прежде,— так будет до той поры, пока людская алчность толкает армии за лёгкой добычей.

Здесь кончается злая и порочная юность фашизма.

Годами длится словесная инъекция фюрера, от которой звереет и становится на четвереньки немецкий человек. Теперь это — нация борзых, её не удержишь на своре. В конвульсиях она мечется вдоль своих границ в поисках выхода за рубежи. Так сумасшедший ищет надёжную стенку — раздробить себе череп. Вчерашние детки уже в полной армейской выкладке или в подводных крейсерах, или в кабинах тяжёлых юнкерсов топят условные американские суда, шарят британское сердце в оптическом прицеле, бомбят воображаемые пространства Белоруссии. С судорожным прискакиванием, как в канибалском танце, шагают прямо на судей чёрные убийцы Гиммлера, мировые специалисты по живосожжению и шкуродиранию...

Но ещё не время, нужна испанская и некоторые другие пробы. В Вене падает застреленный Дольфус. Погом идет снег, и немцы едят Прагу. Теперь пора! Сиплая команда: «Германия, пли!». За одну исторически-кратчайшую пулемётную очередь скончены — Мемель и Данциг, Варшава и Осло, Роттердам и Брюссель, Копенгаген и Париж. Единодушный рёв воровского ликования прокатывается по крупнейшим притонам земного шара. Франко шлёт любовные депеши, Осима морщит мордочку от удовольствия, Муссолини во все свои семь пудов пляшет в Риме, и, чорг возьми, чтоб не отставать, сам Петэн, освежив старый язык одеколоном, отправляется лизнуть сапог победителю.

Вот тогда-то из-за кулис и драпировок всяких миро-

любивых пактов и выступает на арену в полный свой рост Барбаросса. Фашисты раскопали его из забвенья ещё раньше, когда Гитлер лишь производил свои изыскания, где же, собственно, остановились тевтоны шестьсот лет назад в своём поступательном движении на юг Европы? Они только держали этого мертвяка в запасе, как хранят до поры всякие военные диковинки. Видимо, личная грустная участь этого Фридриха и надоумила нашего ефрейтора уже в других направлениях искать жизненное пространство. Разумеется, сей самодельный труженик исторической науки понимал, что уже не по-старому — в бестияном коробе, в лесу, молятся колесу — живут эти самые славяне и другие народы, называемые собирательно — большевики; потому-то и Барбароссу они экипировали по-иному. Это было уже не прежнее гупое и рыжее страшилище, одетое в самовар и вооружённое пудовой кувалдой, при пользовании которой приходилось долго ждать, пока противник подставит тебе темечко или загривок. Это был модернизированный Барбаросса, с высшим штабным образованием, исполин в современной броне, выкованной на наковальнях Круппа, Шкода и Шнейдера-Крезо. Дьяволы в профессорских мантиях, герры Пиппке и Триппке, поили соками германской культуры этого упира, терпеливо обучали его заранее, где и какие жилочки первое прочих рубить у России, чтобы с третьего маху рухнула на колени. Затем толкнули в потылицу, он и попёрся, старый дурак, в гиперборейскую метельную страну, откуда дай бог хоть бы и замертво домой вернуться!

Здесь мы раскрываем детективный иероглиф «Барбаросса». Это — кодовое название генерального плана вторжения в СССР и ограбления всех, какие там отыщутся, сокровищ. Немцы обожают красить в яркие цвета загадочные рычажки своих машинок: так «Зонненблюм» означал у них овладение Африкой, «Марица» — Грецией, «Зе-

елёве»—Англией, «Аттила»—Южной Францией. Надо признать, Аттиле на западе повезло куда более, чем Барбароссе на востоке, хотя именно восточную кампанию немцы считали центральным эпизодом в схватке за надмирную власть. Россия была для них одновременно целью и средством; наши равнины представлялись им подобием высокогорного плато, откуда фашизм откроет обстрел во все стороны света. И кто знает, что было бы теперь, если бы «старый русский великан в шапке золота лягого» не выстоял против упыря в императорской порфири.

Главная тема бредовой чепухи, сочинённой Адольфом в двадцатых годах, под заголовком «Майн кампф», стала приобретать материальное воплощение к концу 1940 года. Фашисты видели в нашей стране прежде всего амбар, полный бесценного добра, и маяк зоркой и гордой совести, презирающей всякую и с любым энтузиазмом несправедливость. Надо было торопиться, пока не выкипела яростная алчность у солдат. Во исполнение фюрерской директивы «сокрушить Россию до окончания войны с Англией» пишутся точнейшие расписания будущих военных операций, где ничего не упущено: на каждую нашу пташечку — своя немецкая пушечка, чтоб и наповал сразить, и пёрышка не попортить. Только смертельная ненависть способна так предусмотреть возможные детали грядущих событий...

Одновременно по приказу Иодля матерые разведчики, генерал Шуберт с полковником Лютером, образуют штабы по изучению наших транспортных и энергетических мощностей, запасов сырья и взаимозависимости оборонных заводов. К концу февраля 41 года советская индустрия разнесена на картотеку, страна поделена на 900 департаментов, утверждены городские центры будущих райхкомисариатов. Всё там заранее установлено: Балтфлот лишить баз, снести с лица земли Ленинград, срыть Кавказский хребет, закупорить Волгу и вывезти тайгу...

Чего не наболтает дурак в истерике! Не забыто равным образом, куда сливать человечью кровь на удобрительные брикеты, как хранить муку из кошегробилок. Секретные совещания чередуются с завтраками в интимной обстановке. Они вкушают французское винко, закусывают норвежскими кильками и вожделенно взирают на большую цветную, с изображением советского медведя, таблицу, где всё распределено по грамму — кому сколько волосков со шкуры, кому голову сосать, кому лапу на студень. Оставалось только связать бурого бичёвочкою по прочнее, чтоб не брыкался, как почнут его научно лобаний герры Пиппке и Триппке.

Стремясь к аккуратности, Гитлер поручил Герингу возглавить эксплоатацию «Остланда», — как к тому времени должны были называться мы с вами, уважаемые товарищи. Он это любил и умел. Рейхсмаршал немедля призвал к себе кувшинное рыло Функа и сделал его главным барыгой в указанном заведеньи. Так родился у Барбароссы, уже который по счёту, дохлый сынок «Ольденбург», означавший «экономические мероприятия на востоке». Уже совместно с ним и с привлечением других сведущих людышек были назначены гаулайтеры и коменданты в ёщё не покорённое пространство, и тотчас же вокруг этих свеженспечённых чиновников закопошились над чемоданом супруги их да зятья, шурья да свояченицы с детками, — и у каждого младенца — свой сосательный хоботок, у каждой фрау — длинный вост्रый коготочек. Тут-то и оказалось, что пока мы с вами мости строили да севом занимались, нас уже впланировали в навечные кандалы, нас и сказочные наши горы, дремучие наши леса, каждую песенную былинку в чистом поле, — а мы про то и не ведали! И тут рождается сверхсекретный меморандум рейхслайтера Альфреда Розенберга, величайшего знатока славянской души в новейшие времена. Оный Альфред обучался в Московском техническом училище и потому обстоятель-

но изучил нрав и обычай сбреchenной державы. Наверно, он даже проник в такую сокровенную подробность, что молодые русские матки обожают катать яйки на масленицу и есть блины с жареной брусникой. Только эти глубокие познания и позволили ему пророчить быстрый, в неделю, разгром и военный крах Советского Союза; за это история и привела его теперь к подножью виселицы. Зато в отношении мероприятий по освоению восточных территорий ему нельзя отказать ни в великой злобе, ни в продуманности. Он так и пишет чёрным по белому в своей записке Гитлеру: «лишить Россию всех средств существования, истребить великороссов, интеллигенцию и комиссаров, чтобы навсегда сделать невозможным возрождение Советского Союза». Как видите, эта сильно умственная личность отлично понимала роль партии, интеллигенции и ведущего русского начала в прогрессе нашей страны.

Больше того, планируя историю на век вперёд, Розенберг требует национального раздробления советского государства на фантастические области и республики, которые, естественно, легче было бы прожевать Барбароссе. Он провозглашает «уничтожение нежелательных элементов» в Латвии, Эстонии и Литве с предоставлением их «жизненных избыток» немецкому народу. Таким образом, полная германизация Прибалтики вместе с последующим «освоением» Скандинавии преобразуют прилежащее море в обширный пруд, помещённый в центре великой Германии. По цинизму это можно сравнить лишь с мотивировкой поставщика рабов Заукеля по поводу вывоза ста тысяч наших ребятишек в трудовые лагеря в Германию: «понизить биологический потенциал Остланда». Словом, этот подлейший раздел документов, оглашённых нюрибергским обвинением, надлежит в особенности крепко запомнить народам Советского Союза, в социалисти-

ческом и братском единстве которых заключена их историческая непобедимость.

...Итак, 14 июня 1941 года фюрер выслушивает последние доклады главнокомандующих армейскими секторами о подготовке вторжения. Установлены — подтверждающий пароль операции «Дортмунд», час выступления — 3.30, повод для нападения — «бесчеловечность СССР». Неправдоподобно, но тем лучше. Наглость также поставлена фашизмом на вооружение. Через восемь дней Барбаросса в гремучем всеоружии выйдет на дорогу большой войны... Но наши красноармейцы уже лучше и обстоятельнее меня расскажут про его знаменитый поход туда и обратно.

Всё же роковое утро наступает наконец. В ранний час по Берлину расклевывается приказ фюрера: «Я снова принял решение вручить судьбу Европы в руки моих солдат». Ещё пусты улицы этой обречённой берлоги, но уже, как свечечка, пылает на экране какая-то сирая русская церквушка, и первые наши жертвы корчатся под обломками Киева и Минска. Мы видим также высоченного германского гостя, посещающего будущую Белорутению, в шинели длинной и чёрной, как балахоны мортусов, этих служителей чумы в давно-прошедшие времена. Палачи имеют склонность заблаговременно примериться хозяйственным глазом к тому, что завтра они будут убивать. Вот он идёт мимо наших военнопленных, согнанных за колючую проволоку, и те ёжатся под этим взглядом, в котором нет ничего, кроме щемящей сердце пустоты. Вот так же молча и безлично, среди большого, как наша Родина, луга он смотрит в упор на русого, такого ласкового, белорусского пастушонка, и вдруг как бы серая тень, словно от смертного крыла, ложится на лицо мальчика. Можно отдать полжизни, баш на баш, чтобы собственноручно отнять хотя бы полжизни-же у этого всесветного подлеца. Это Гиммлер; ему принадлежит фраза, сказанная во дни,

когда Германия в тысячи присосков пила горячую кровь Украины и Белоруссии — «в настоящую минуту меня совсем не интересует, что происходит с русскими».

Этого человека, как и его шефа, нет на скамье подсудимых. И хотя мы судим их не потому, что победитель будто бы ищет мщения, а для того, чтобы избавить от зла планету, — есть стариное поверье, что порок умирает вместе с его обладателем, если их убить надлежащим образом! — но душа наша, познавшая слишком большие утраты, не сыта. Нам также кажется неполным и этот фильм. Для исторической цельности в нём нехватает заключительных кадров, однако есть надежда, что к весне кинооператоры снимут недостающую концовку, которую уже по приговору суда исполняют те же актёры.

Сеанс окончен. Обжигает глаза убийственный свет американских прожекторов. И хотя где-то вдалеке слышно, как журчат вентиляторы, смертная духота ложится на грудь. Грозу сюда скорее, гневную человеческую грозу! Когда мы выходим на улицу, чистый зимний воздух кажется нам величайшим благодеянием природы...

Нюрнберг.

«Правда», 20 декабря 1945 г.

Гномы науки

С первого взгляда нюрибергская зима чем-то походит на раннюю весну в России. Так же приморозит землю по ночам, а с утра солнышко прогреет её до оттепели... Но не бывает здесь весенних горластых ручьёв, что с песнями точат сугробы, да и снежный паёк не в пример беднее нашего, как и всё ныне на оскуделом западе. Нет, разве сравнить наш декабрь с ихним апрелем, царственную горностаевую шубу с тонкой погребальной кисеёй, сквозь которую уже к полудню проступают острые черты города-мертвеца.

В такие погоды смертельно хочется домой, хотя бы с палкой пришлось брести через всю Европу. И, раз уж недосыпаемыми кажутся снежные раздолья Родины, воображение тянется в иные, тёплые итальянские приволья, до которых отсюда рукой подать. Мы сразу попадаем в роскошный город Рим, где шумят незамерзающие фонтаны перед Ватиканом и ласкает взоры неувядаяющая небесная голубизна. Теперь уже трудно удержать нашего пегаса. Представьте себе, что эта своенравная поэтическая лошадка занесла нас в октябрь 1941 года, и больше того, прямиком в германское посольство. В приятной комнате стоит приятный дым сигар. За приятным столом сидят три приятных господина.

Мы явились сюда явно не во время. Только что закончился ленч, и эти три пожилых благообразных синьора беседуют вполголоса на интимные медицинские темы.

Тут оказывается, что все это—синьоры высокопоставленные ишибко мозговитые, так что полезно и нам, простым людям, заглянуть украдкой в глубины просвещения. Оказывается также, беседуют синьоры по-немецки, так что вовсе и не синьоры они, а герры. Оказывается, наконец, что беседуют они некоторым образом о нас с вами, дорогой читатель, так что уж и совсем не грешно послушать этот разговор.

В ту пору германские войска, увязая в грязище, подступали к Серпухову и Нарве, и многие кашляли от русской простуды, а в Риме тогда стояла курортная теплынь и в девственных небесах за окном рисовался купол св. Петра, творение Браманте. Если же он не рисовался, то чорт с ним, обойдёмся и без Браманте...

Все трое были влиятельные у себя, в Германии, люди. Рядом с хозяином, послом при Муссолини фон Макензеном, допивал своё кофе министр здравоохранения доктор граф Леонард Конти, а чуть наискосок пощипывал бородку и баловался безалкогольным напитком невзрачный семидесятилетний старичок, тоже доктор, Клаус Шиллинг. Это был мировой светоч в области тропических заболеваний, изучению которых он предался в 1894 году в тогдашних африканских колониях Германии. Шиллинг слушал лекции у Коха, открывшего возбудителей туберкулёза и холеры, учился у Леффлера, знаменитого исследователя дифтерии, он работал с самим Вассерманом, наконец. У него имелись мировое имя, отличное здоровье, процветающая семья. Он был членом малярийной комиссии при самой Лиге наций. Рокфеллеровский институт заплатил ему в 1920 году 5 тысяч долларов за одни его попытки до конца малярию. Ему оставалось только одно — победить эту болезнь, чтобы хоть частично отплатить судьбе за её чрезмерное благоволение к его особе.

В ту пору войска Роммеля готовились к высадке в Африке, где, как известно, всегда процветали всякие лихорадки.

радки. Тема беседы, естественно, перекинулась с войны на малярию, и Конти осторожно пожурил старику за медлительность в работе на пользу фатерланду. Светоч отвечал, как в таких случаях положено, что и рад бы всей душой, да, дескать, и кролик нынче не тот пошёл, да и морские свинки кусаются. Тогда-то Конти и предложил учёному поработать на заключённых в германских концентрационных лагерях, из которых добрый десяток успел к тому времени прославиться в качестве филиалов ада на земле. И хотя старику скоро надлежало, как говорится, представлять перед судом божиим, он согласился. Изуверская рациональность предложения была налицо: при такой постановке дела германская наука не только не тратилась на покупку подопытных животных, но и сама сокращала государственные расходы на содержание и кормёжку военнопленных.

Очередная научная конференция состоялась в Эйдtkунене два месяца спустя, с участием доктора Гравитца, начальника медицинской службы войск СС, и Гиммлера, уже решившего профильтровать человечество через свои лагеря уничтожения. Этот самый чёрный человек всех времён и народов предложил Шиллингу на выбор любой лагерь Германии. Светоч выбрал Дахау. Там и климат мягче, и глушь, и местность вокруг университетская, и недалеко до Нюрнберга, где ещё сохранялась в пытальной камере знаменитая «железная дева», этакий футляр с ножами, куда в старые времена сажали еретиков на просушку. Словом, к февралю следующего года здесь за колючей проволокой обосновался «малярийный институт» Шиллинга с лабораторией и бараком на сто одну койку, причём последняя представляла собой длинную чугунную решётку, ловко входившую в неотъемлемую при таком хозяйстве печь; когда кандидатов было несколько, кому-то приходилось ждать... Вот и повержено на земь поганое идолище фашизма, а всё ещё не можем мы вздохнуть в

полную грудь; это оттого, что ёщё до сегодня мы дышим частицами пепла и воплями жертв, растворёнными в воздухе Европы!

...Сюда отбирались лишь наиболее жизнеспособные человеческие экземпляры. В первой же тысяче, подвергнутой различным «научным» манипуляциям Шиллинга, шестьсот было наших, русских. У них не было фамилий, их различали лишь по номерам да по симптомам привитой болезни. Они в огненном бреду выгибались на койках, грызли почернелые от зноя губы, звали на помощь маму, бога и тебя, Красная Армия... а между них похаживал старенький доктор Клаус в белом халате и подпрыскивал своё зелье в тех, кто имел ёщё в себе силу выглянуть, как из пылающего дома, на этого факельщика со шприцем. Две полуобезьяны, избранные по признаку уродства из числа жертв, прислуживали ему при этой бесстыдной казни; их делом было — взять в ремни, ввести фенол в вены агонизирующих и оттащить готовую продукцию к печке.

Из многих безымянных тысяч, протёртых через это смертное сито, уцелел лишь один — некий Михайловский, католический священик из Польши. И так недалеко от этого места до древнего ватиканского дворца и роскошной площади с незамерзающим фонтаном, что уж, наверное, побывал там Михайловский, порассказал земному наместнику бога, что натворил наместник дьявола на земле за время его немощного старческого сна. Нам неизвестно, что ответил своему духовному чаду великий старец в тиаре: плакал ли гневными слезами пророка о мерзотях германской Иезавели, отлучал ли от лона церкви фашистских негодяев, как мы отлучаем их нынче от всечеловеческой семьи, или телеграфно потребовал себе слова на нюрнбергском трибунале, чтоб выступить истцом Совести от имени безвинных и неотмщённых мучеников. А надо бы, надо бы, ибо даже страдания святых Агнес и Цецилий представляются лёгкими факирскими упражне-

ниями в сравнении с муками польских и русских девушек, подвешенных за ноги для искусственного оплодотворения. Но безмолвствует Ватикан, и стража с алебардами молчит у Ватикана.

При приближении союзных армий к Дахау улики были, конечно, сожжены, и знаменитый блок № 5 истаял в дыме артиллерийского огня и многие из светочей человеческого разрушения разбежались по университетским щелям. Так и не услышал бы мир, до какой степени падения докатилась так называемая германская культура, если бы в пещере близ Халлеина не был отыскан личный архив Гиммлера. В этой разрозненной по листкам чортовой библии собраны почти все документы по экспериментированию на живом человеке. Я — тихий, мирный человек, хотя и без труда отличаю пушку от телескопа, но кажется мне, что за отсутствием владельца этих чёрных бумажек было бы справедливым переплести их для потомков, хотя бы в кожу Геринга, которой, кстати, с избытком хватит на это мероприятие. Именно сей бывший рейхсмаршал воздушных сил имел к ним равное с Гиммлером касательство. Оттуда мы узнаём имя другого, ещё более зверского светоча германской науки.

Мы не знаем ничего о наружности доктора Зигмунда Рашера, знаем только, как выглядела его душа, и избавим читателя от её описания. Он был профессором авиационной медицины в Мюнхене, гауптштурмфюрером войск СС и находился в приятельских отношениях с шефом, поскольку жена Рашера, актриса Нини Диль, имела от него, от Гиммлера, ребёнка. Вот он и попросил у Гиммлера по-родственному дать ему пару преступников для опытов. Тот направил пытливого доктора в Дахау, и уже в марте 1942 года при блоке № 5 был построен надёжных размеров и с окошком стальной стакан, где атмосферное давление можно было менять по желанию в любую сторону. Не подозревая ни о чём, жертва смущённо улыбалась на

табуретке, стыдясь своей наготы, пока не включался рупильник на откачуку. Из-за толщины стенок крик не был слышен, только шипели насосы да мерно тикали контрольные часы. Известно лишь, что обречённые рвали волосы на себе, пытаясь как бы расширить своё тело, догнать убегающий воздух и тем ослабить чудовищное давление, радиально возникшее в черепе. Затем следовало вскрытие, потому что убийце самая сласть — погреть пальцы в тёплых внутренностях жертвы, причём, по совместительству, Нини снимала цветные фотографии с человека, собственной матерью взорванного изнутри. Так готовилось научное сочинение докторов Рашера, Руффа и Ромберга, секретно опубликованное в июне 1942 года с издевательским названием «Опыты спасения жизни на больших высадках».

Ещё за два месяца до выхода этого почтенного издания в свет фельдмаршал Мильх в государственном письме от имени высшего военно-воздушного командования поставил перед этими шалунами науки некоторые дополнительные проблемы. К тому времени немецкие лётчики как-то уж слишком часто стали падать из самолётов в северно-европейские моря, и следовало изыскать способы обогревания человеческого тела, смертельно закоченевшего в ледяной воде. Получив предписание, Рашер навестил начальника медицинской инспекции воздушных сил профессора Хиппке, и тот придал им в подмогу ещё трёх маститых профессоров — Яриха из Инсбрукского университета, Хольцлонера — из Кильского и патолога Сингера — из Мюнхенского госпиталя. Готовые отдать жизни за фатерланд, разумеется, чужие, светочи вскричали: «Хайль Гитлер!» — и отправились в тернистый путь научного исследования.

Деревянный продолговатый ушат, обтянутый обручами, наполнялся холодной водой, куда по потребности добавлялся крошеный лёд. Жертву погружали в меховом ком-

бинезоне или голышом, одних — до шеи, других — по уши. Защитные рефлексы организма прекращались уже через пять минут, сведённые руки прижимались к телу; вместе с конвульсиями начиналось как бы мускульное окаменение, по прекращении которого наступал конец. Так родилось новое научное рукоделие под заголовком «Доклад об охлаждении человека». Своим обычным зелёным карандашом Гиммлер отметил дату прочтения — 21 октября 1942 года. Покойник обожал почитать что-нибудь свежающее на сон грядущий. В этом труде с немецкой точностью указывается, что для охлаждения тела до 29 градусов требовалось от 70 до 90 минут. Разумеется, бывали индивидуальные отклонения, и отмечен один исключительный случай, когда температура «субъекта», за полтора часа доведённая до 26,5 градуса, не понижалась более; потребовалось ещё дополнительных 85 минут, чтобы свалить этого гиганта. Мы видим, как ёжится во льду его могучее посинелое тело в напрасной попытке сжаться, сократить свою поверхность до нуля, уничтожиться совсем; видим, как в поверхности его остылой роговицы начинают отражаться три маленьких немецких гнома с блокнотами в холеных лапках. Как правило, избавительница-смерть приходила между 24—25 градусами.

После охлаждения, если жертва не утрачивала признаки жизни, приступали ко второй попытке интенсивного отогревания. В разных комбинациях применялись шерстяные одеяла, спирт, препараты, тепловые лучи на сердце и даже живое тепло женского тела, для чего Рашер специально выписал четырёх молодых цыганок от оберштурмбанфюрера СС, из женского лагеря в Равенсбрюке. Кстати, управитель этого лагеря, Вольфрам Сиверс, бывший лейпцигский издатель всяких утончённых еженедельников, являлся в то же время директором «Аненэрбе», ведущей нацистской организации по «развитию германской культуры». Как видно, культура к немцу прикреп-

ляется проще, чем тростниковые трусики к дикарю... Итак, ценой несчётных жертв экспериментаторы Дахау подтвердили теорию Лапчинского, высказанную в 1880 году, что наиболее действительным средством спасения в таких случаях является немедленное погружение в горячую ванну от 40 до 60 градусов... если, конечно, у человека стальной паккардовский поршень вместо сердца.

Читайте до конца, всё написаное здесь — правда. Пусть всякий знает, что означает сдаться в плен фашизму!

И опять Мильх прислал благодарственную грамоту комманданту Дахау «молодцы, мол, ребята», но тут уже сам Гравитц выставил, как у нас говорится, встречный план. Ходили слухи по Германии, что немецкая армия покатилась вспять от Сталинграда, и недобитую нечисть в соломенных валенках валит и душит русский мороз. Сей неутомимый труженик науки порешил поработать над вопросом воскрешения обмороженных. С этой целью он начал опыты над тридцатью живыми существами, которых голыми клали на холод на срок от 9 до 12 часов. Зажмурясь, товарищ, и представь на минутку, как безмолвный голый человек, скорчясь на снегу, глядит в ночное небо, полное звёзд... тех же самых, на которые смотрят в эту минуту его товарищи-бойцы!.. А вокруг прогуливается немецкий автоматчик, постукивая друг о дружку стынившие ноги.

К отогреванию приступали не сразу, а через некоторый условный промежуток времени, необходимый в полевых условиях для доставки обмороженного в госпиталь. Тут-то и подвёл умеренный климат Дахау: жертвы не промерзали как следует, их приходилось просто убивать потом, для сохранения секретности. Тогда Рашер попросил перевести его в освенцимскую систему лагерей, где и зима покрепче, и людского материала больше, так как вспыхнувшая вдруг эпидемия тифа в Дахау выкосила сразу чуть не всё население лагеря. Блок номер пять

временно был эвакуирован в восточные пространства, где Рашер в особенности любил «работать» на евреях, цыганах, русских военнопленных и католических ксендзах. Непостижимое смертное братство!.. Приближение Красной Армии с востока заставило Рашера вернуться в Дааху; приближение союзных армий с запада надоумило Гиммлера расстрелять доктора Рашера с супругой: мёртвые тем хороши, что не болтливы!

А они много могли бы рассказать ещё — про «фосфорные» эксперименты в Бухенвальде, про упражнения по искусенному деторождению... Но хватит, пожалуй! Эта человеческая дрянь ответит за всё на нюрнбергском трибунале... И этого будет недостаточно, если Германия до последней былинки не проникнется сознанием содеянного злодейства. Было бы справедливо набить все витрины её городов фотографиями Дааху и Бухенвальда, чтобы стояли и глядели на них годами, пока мозоли не вырастут на глазах. Надо отобрать у них возможность когда-нибудь, хоть через десяток поколений, возвеличить фашизм, как всенациональный подвиг.

Мне кажется, что утомление всякой цивилизации начинается с помрачения национальной морали. За тысячу лет много ли раз пытался Запад промыть и почистить старые, запущенные водоёмы своей культуры? Благодействия цивилизации становятся людским проклятьем, когда они не освящены мечтой о вселенческом счастье. Тогда она выходит на столбовую дорогу истории, убогий и облезлый зверь, и грызёт всё, что попадается ей на пути, пока не проучит её кто-нибудь Гневный палкой в подворотне.

...Нет, культура не умрёт на земле. Залог этому, будем надеяться, — новый послевоенный мир и прежде всего мы — граждане Советской страны. Мы чтим святыни и помним прошлое, как грозный и нужный урок. Наши утраты в войне — больше, чем у всех других на свете, но нас не веселят развалины Европы. Миллиарды умных

грудодней погребены навечно под этим багровым, как свежее мясо, щебнем. Мы сопоставляем это с другими возможными вариантами человеческого поведения и хотим знать, когда же повзрослеет мир. Мы — люди.

Я кланяюсь вам отсюда, всем врачам моей страны, генералам и рядовым советской медицины, которые радуются, как личному счастью, принимая на руки маленькое тельце нового гражданина вселенной, и горюют, как о собственном несчастье, когда смерть крадёт у них из-под рук свою добычу. Я лумаю о нашем простом сельском враче, у которого нет пока ни сверкающих никелем и керамикой операционных, который ночью сам ремонтирует старенький шприц, у которого порой единственный инструмент — безупречное мастерство и проникновение в инженерию человеческого тела. Он видит в человеке не кролика, как эти гномы из Дахау, а прежде всего — свободного творца хлеба, песен и машин. Только воинству живое умеет ценить жизнь. И потому безвестный врач где-нибудь в крохотном городке Чистополе на Каме представляется мне — из университетского города Нюрнберга — величайшим гуманистом на свете.

Нюрнберг.

«Правда», 22 декабря 1945 г.

Слово о первом депутате

Без остановки мчится время, даже когда мы спим или любим. Возница-время гонит своих коней, и, как глянешь порой под их стремительные копыта, — до боли зарябит в глазах и дух захватит от щемящего встречного ветра. И как это ухитряется удержать в себе всё это наша память!.. Только что, скинув с себя бушлаты, кидались в контр-атаку, на колючую вражескую оборону севастопольские моряки... но вот уже шелестят в небе цветные шёлковые звёзды московского салюта, а через минутку всё позади: и плывущие зарева Смоленщины, и осатанелый дребезг боя, и даже слёзы сироток и матерей, обладающие жестоким свойством высыхать под солнцем победы... Было или не было?

И снова ни копотинки в девственном небе января. И чуть растерянная послевоенная тишина, как громадный демобилизованный солдат, не знающий, за что ему приняться сначала. И пахнет свежей сосновой щепой морозный воздух. И уже нарядные, краше прежних, избницы пестрят на зловеще обугленных пустырях. И скоро позовут на пироги бесчисленных свадеб, крестин и октябрин. Скоро молоденькое советское племя, как весёлая озимь, подымется в пространствах наших, и ещё раз, из края в край, пройдётся круговая всенародная чарка за удаль отцов, за нашу нетускнеющую мечту, за нынешнего её хранителя и отца. То-то будет плясу и здравиц, песня всхлынет под самые облака, и барабанно взгудит земля, и леса зашатаются, как

хмельные. А уж мы поднажмём, товарищ, чтоб было чем отгулять на том главном пиру и чем одарить молодых на разживу, пока не запустят в почву собственных корешков. Полны карманы и закрома насыплем мы им и уголька, и нефти, и спелого пшеничного зерна, и доброй стали на зубок,— без чего не растут нынче великаны.— Исправному родителю нет ничего отрадней счастливого смеха его ребяток.

— Торжествуй, юность, отвоёванная у всесветного злодейства!..

Всё это будет лишь завтра, когда начнёт выкладывать свои дары победа, а пока — останови своих коней, возница! Хотим сойти и постоять в молчании минутку на самом важном перегоне нашей жизни. Хотим оглянуться на дорогу, которую на чортовых скоростях мы проскакали в четверть века. Хотим проститься с павшими героями, что как факелы, пылают позади в невыразимом огнедышащем мраке минувшей войны; отныне при свете их школьники мира станут читать учебник новейший истории. Хотим, наконец, поклониться минувшему старому году, славно потрудившемуся на победу. Станем в круг, притихшие и строгие, окинем друг друга ревинным братским глазком, много ли юности вышли из нас четыре страшных военных зимы.

Оттого ли, что равномерно и поровну стареет поколение, мнится мне, что всё те же вы, мои современники, как и семнадцать лет назад, когда лишь начиналось сталинское преображение страны. Только сильней засеребрились головы старииков да возмужалость политической зрелости пропустила в облике советской молодёжи. Что ж, воинская деятельность была в эти годы вершиной государственной деятельности, как её понимаем мы. Правда, солдаты-ещё не смыли порохового нагара со своих рано огрубелых и прекрасных лиц, не сошли пока кровавые мозоли с милых, хлопотливых рук наших сестёр и матерей. Но я объездил

много чужих городов и не нашёл лиц юнее и красивей ваших. Значит, подвиг умножает стократ человеческую прегражность, а юность измеряется не количеством отжитых дней, а величием дел, которые надлежит ей совершить впереди. Будем же завтрашние наши дела равнять по вчерашним!

Для этого давай оглянемся, товарищ, на наши прежние свершенья. Давно ли гремела сталинградская канонада и танки с двух сторон смертно сшибались на Курской дуге? Давно ли волчьи стаи безнаказанно промышляли на дорогах двух смежных материков, а вот уже и клока не осталось от главного фашистского поганца, — хоть бы зубок его найти, что за штука такая, которую он сбирался вонзить с насоку в наше горло. Глядишь, уж и солнышко пофевральски крепнет в весенеющем небе, ибо по слову древней Кормчей книги именно солнце старается пожрать этот символический волк. И слизнул бы, каб не мы!.. И вот волчьи атаманы надёжно сидят в нюрнбергских казематах, зализывая плешины да подпалины на боках. И снова в сбore наша семья, и отец наш с нами, и наши клиники пуще прежнего сверкают на зорьках, шлифованные о шершаевые загривки фашистских скотов. И есть у нас нынче время снова созвать со всего отечества знатных людей, достойных по разуму, дарованью или мастерству слиться в единый мозг государства. Здесь народ мой и совесть велят мне сказать слово о товарище Сталине, первом депутате нашей земли.

Не море я, даже не ласковое северное озерко, чтоб отразить хоть в малой доле величие светила, видимого ныне со всех краёв вселенной. В большой реке народной жизни я только капля, которой коснулся живительный и острый луч звезды. Люди моего возраста засвидетельствуют правду моих слов; они ещё застали старое, помнят жестокую, такую напрасную русскую тоску о несбыточной правде. Мы все были зачаты ещё в потёмках мира, и нам дано по-

этому сравнить недавнюю полночь и нынешний полдень России. У меня также нет возможности перечислить одну за другой все даты сталинской деятельности, потому что каждою из них обозначена целая полоса нашей общественной мысли. Моё дело сегодня — вычертить на полном взлёте поэтическую орбиту звезды, проходящую перед нами... Конечно, моя здравица Сталину пропитана звучанием лишь великорусского слова, но пусть на всесемейном торжестве и остальные советские народы устами своих поэтов вырастят во славу его цветы человеческой речи. И чего не доскажет наше перо, про то с избытком восполнит песня.

Не вчера мой народ поселился на своей великой равнине. Мы обращаем взор назад, в первозданную петровскую метель. Свирепое пламя этого чернорабочего царя, на целый век разодравшее древний мрак России, потом отодвинулось в дремучую вечность и перестало согревать корни национального прогресса. Новая ночь нависла на чудовищных просторах наших. Ползучие крепостные гады поселились на тёплой народной груди. Бились и в ту пору горячие на батные сердца, одно на миллионы забитых и несчастных человеческих особей,— нельзя считать за признак процветания сытое брюхо удачливого хищника или даже нарядную духовную нищету устоявшегося рабства. Время наших прадедов стало тяжким, как будни кандалыника, и удивления достойно, что даже среди такой, на столетье затянувшейся зимы не угасали родники совести народной, бившие то — живой водой, а порою и чистым пламенем. И каждый раз на смену одному возникал другой, а иногда и в сотню голосов отзывалась им душа России. Нет, никогда не прекращалась эта подземная перекличка великих народных сил, погребённых под ледником крепостничества. Такие разные — Ломоносов и Радищев, Пушкин и Чернышевский, они шли к одной цели, умному народному благу,— как кровь отовсюду стремится к сердцу.

Вот почему даже в самую глухую полночь на весь мир светились так таинственно и прекрасно арктические снега России...

...Всё медленнее, точно увязая в сугробах, двигался прогресс у нас, на Руси. Уж нас опережали, над нами посмеивались, нас заранее примеряли к своему карману в качестве будущего военного трофея; уж пробовали померить и силу нашу, и, может быть, все войны предыдущих веков были одной сплошной разведкой боем. Скажем прямо, если мы и учивали в ту пору чужие рати, то не соломенным царским могуществом, а лишь исконной русской доблестью, готовой с голыми руками выйти на лесного космача. Да и в невоенные былые годы не прерывалась эта мирная война за освоение России — вспомним, какая недвусмысленная акционерная паутина тянулась от хилой нашей промышленности к зарубежным банкам. Чужеземная алчность, лязгая стальными челюстями, волчей рысцой бежала о бок с Россией, высматривая поживу в её старомодных бедных пошевнях... Тут уж мало стало подстегнуть лошадок, чтоб с молигвой да оглядкой миновать опасную историческую трущобу. И уже лезло и с запада и с востока что-то нестерпимо резвое и мелконькое, от чего мельтешило в очах у России. Эх, и махнуть-то было хоть разок железным шкворнем, со всего плеча, да пусты были руки русского богатыря.

Именно у нас неминуемо должна была зародиться народная мечта о праведной стране, где не шумные молочные реки текут в кисельных берегах, где обитают жители особой строгой стати и светлой совести, где ни пиявицы в пруду, ни барина на горбу, — трудись и пой! «Хороша держава,— прадеды наши печалились, да ни адреска туда не дадено, ни словца заветного, чтобы тропку туда отыскать». И уж до такой степени изождались, извергались, что только старые бабки, хранительницы наших

святых преданий, внучаткам про то на печи сказывали: на-
родится однажды у Родины безмерной силушки сынок, ко-
торый подымет матушку в объятиях и в облаках перенесёт
её в ту дивную сказку. А начнётся это с одной заветной
зорьки, когда всё проснется разом, люди и скованная зи-
мой природа, и грянет на злую людскую бедуху тот дол-
гожданный гром, о котором от века пелось в русской
сказке и сказывалось в «Дубинушке». Так выглядела
крестьянская мечта о социализме даже в ту пору, когда
я сам, шестилетним мальцом, катался на ледянке у себя,
в деревушке Полухино, бывшей Калужской губернии.

Кто-то должен был открыть для человечества этот ше-
стной, праведный материк социализма. Но сперва следо-
вало определить его географические координаты — за
горными хребтами, за немолчными морскими валами... о, Одиссею было бы ближе плыть между его Сцилл и Ха-
рибд! Мало того, требовалось заранее исчислить тамошние
законы движения людских масс и исторических судеб,
труда и товаров, идей и всего того, из чего в гармониче-
ской пропорции сплавляется человеческое б л а г о п о л у-
ч и е. Нельзя было принять на веру тот старинный, сомните-
тельный мещанский сплав, из которого старое общество
чеканило монету для расплаты с рабами. Полагалось
разъять это понятие на составные части, тронуть их кис-
лотами сложных социальных реактивов, измерить их аб-
солютный атомный вес и лишь тогда заполнить в эти-
ческой таблице пустующую клетку, над которой стояла
наивная надпись—с ч а с т ь е! Словом, русские люди и те,
кто объединил с ними свой исторический жребий, ждали
универсальную и героическую личность, творца новой на-
уки, который соединил бы в себе хотя бы Колумба, Мен-
дeleева и Коперника. Он пришёл наконец,— это был
Ленин. Он оснастил по-новому старый фрегат Российской
империи и, сшив ему новые паруса, стал его первым капи-
таном. Его смерть застигла нас, когда мы только что ото-

шли от причала в открытый океан. Тогда Ленина сменил Сталин.

Имени Сталина во всех его делах предшествует имя Ленина, равно как имени Ленина, подобно горному эхо, отзывается в веках имя Сталина. Здесь мы раскрываем далеко ещё не полную книгу этой большой жизни; пусть до конца дней, пока движется солнце в поднебесье, погибнутся её увлекательные страницы. Как и книга ленинской жизни, она начата в ту отдалённую эпоху, когда самый помысел о трудовом единстве людей представлялся созданiem если не смешной, то во всяком случае отвлечённой мысли. Так учёные создают знание о космическом светиле, изучают его объём и скорость, но какому исполну удавалось дотянуться до него рукой, чтоб сделать достоянием людского племени?.. Это есть прежде всего книга титанического труда, и только наш народ, сам умеющий самоотверженно поработать во имя идеи, даже не доставляющей немедленной политической выгоды, может оценить подвиг Сталина. Мы опускаем детство и юность гения, известные всякому школьару; вспомним только, как чист воздух в Гори, как глубоки снега в Новой Уде. Мы были маленькие тогда, мы еле помним, как, подобно лесному пожару, освободительное пламя охватывало империю; гасители в жандармских галунах притопчут его, бывало, на опушке,— оно с дерзкой яростью подымется в глубине... и вот уже нехватало полицейских сапог покрыть полностью всю площадь Российского государства!.. Начнём прямо с того памятного года, когда из опустелой гавани старой истории Россия вышла в свой справедливый и бескрайний путь.

Не испытав законной гордости за наше историческое прошлое, мы ни на шаг не продвинемся вперёд. Это теперь имеются точные маршруты и лоции, по которым рано или поздно целой армадой доплыёт человечество

(слишком уж изменился за полвека климат мира, прохладно и зазорно нынче гулять в нём попрежнему, в дикарских трусиках!). В ту пору вели нас, товарищ, верный ленинско-сталинский компас, проверенный в бурях 1905 года, да молодая отвага рабочего класса, да ещё вера народная в орлиную зоркость глаза, в непреклонную твёрдость капитанской руки... Помнишь, нас сразу обняли океанские бури, смешались часы суток, дни и ночи, когда волна гражданской войны хлестнула через палубу, смывая обломки старого, — трещали деревянные бока российского корабля. И хотя сменился потом безветрием этот первый шторм, оба капитана угадывали чортов смысл того коварного затишья. Куда в такую дальнюю дорожку, да на парусах!.. Дано была команда — не убавляя ходу, одеть корабль в броню, чтоб не раздавила враждебная стихия. Оказалось мало: ветер срывал обветшающую снасть, в преисподнюю то и дело швыряло вас из-под облаков. Вы поставили в корабельное сердце все механизмы, какие нашлись под рукой у рабочего класса, но нехватало в них силы провернуть винты в сгустившейся бездне. Тогда почти из ничего, из воздуха родины, из песен да из скучного пайка вы сстворили новые машины, и, верно, помнят ваши домохозяйки, сколько наущенного хлеба нужно было уплотнить, чтоб получилась сталь требуемой маркировки. Три пятилетки вы не спали, и вряд ли за всю дорогу вздрогнули толком хоть разок ваши рабочие подруги... Ни на минуту за весь рейс не покинул мостика бессонный и немногословный капитан. Жуть и стужа неизвестности леденили ваше сердце, — но улыбка и песня не сходили с ваших уст, чтоб не утратил он веры в свой народ, из которого черпал свою волю. Он вёл направки отяженевшее от сокровищ корабельное тепло, даже когда океан выгибал перед ним свою крутую левиафанью спину; он вёл и не спускал взора с путеводной звезды, которая была — Ленин. ...Мало было бы сто

очей иметь, чтобы видеть сразу — и на столетие вперёд и на вершок вблизи.

Малодушных и ослабевших немедля смывало волной. Иные скованивались в трюме предаться на милость волны, чтобы занесла на тихий островок, к укромному шалашику с подачей пива и ширпотреба. Они хватались за руль, подымали воровской нож во мраке такой непогоды, — народ нещадно спихивал их за борт: совсем вблизи вас поджидали самые коварные рифы истории. На всём бегу через пучину вы перестроили своё экономическое оснащение для повышения остойчивости корабля... О, помнится, даже пыль не прежняя, а новая летала в ваших тесных пока, неблагоустроенных каютах! При этом следовало подружить — казалось бы, более полярные, чем вода и огонь, стихии, способные разнести в клочья иную социальную тару — вопросы личной и общественной пользы, многоязычного государства и национального процветанья, многовекового прошлого отдельных народов и стремительной братской новизны, и, наконец, добиться безопасного социалистического бытия в разноименном окружении. Ещё тесней крестьянство сплотилось с рабочим классом: нынче и дураку внятно, что было бы без коллективизации, без сосредоточения двухсот миллионов воль в одном лезвии, которым рассекалась пучина. Так сколько же времени прошло с тех пор, как Россия легла на этот курс — тысячелетие или минута?.. Но к месту величайшего исторического испытания подходила уже не прежняя, шитая на гвоздях, парусная посудина, а пловучая, вполне современная крепость, в которой каждая заклёпка была умна, как человек, и каждый человек выглядел крепче стальной заклёпки... Потом, все сразу, вы увидели пресловутые рифы фашизма. Они стояли наготове, в шахматном порядке, как танковые надолбы, — как шеренги отборных солдат встали они перед вами. Они и родились лишь для того, чтобы не пус-

тить нас к праведной земле... И вдруг они сами, как в бредовом сне, сорвались, зашумели и, буровя воды, пошли в атаку. Хоть всем было известно, что большие клады, подобные нашей мечте, не даются даром, во многих из наших зарубежных друзей дрогнуло сердце — они ли, рифы, распорят наше стальное чрево, мы ли с ходу раскрошим их тяжестью накопленного могущества. Так началось это.

За четверть века ком только ни прикидывалась подлая бессмертная смерть, пытаясь потоптать самую честную и живучую поросль человеческого рода. Она рядилась в белых генералов на пышных конях или без оных, в трусов и капитулянтов, в сладкоголосую птицу-чаровницу, соблазнительно напевавшую о санаторном отдыке для страны, уже разгорячённой созидательным трудом, в ползущую диверсантскую тать... и всякий раз, железною скребницеей содрав её непрочный грим, мы видели одно и то же, давно знакомое нам, костистое и с зубатым оскалом лицико, которого, казалось, хоть кулак искровяни, ничем не проймёшь. Теперь она оделась в голубой мундирчик со свастикой на рукаве, чёрную прядку клинышком наклеила поперёк лба и клоунские усики над губою; она сменила прежнее, сенокосного типа, вооружение на иное, похитрой и посовременней, она раздвоилась, расчётверилась, размиллионилась... ни один самый ядовитый микроб не плодится так, как размножилась эта — даже не в чёрные кулиги саранчи, а в несметные рати смертяшек! И у каждой из них имелся походный котелок на твоего курёнка, вострый зубок на твоё, пусть даже зелёное яблочко, ножичек на твоё дитя, хомут и печка на тебя самого. Впрочем, куда там: они видели в нас даже не послушные рабские машины, но сырьё для своих мыловарен, медицинских застенков и компостных куч. Им нужна была твоя шкура для обивки мёбели, кровь твоих малюток для врачеванья недостреленных сквернацев, ложки твоей невесты для их похабных семейных туфяков.

Хорош ты был в полной срамной своей наготе, распоясавшийся старый мир!

Когда на Нюрнбергском процессе переводчик шептал мне в микрофон о подробностях зверского фашистского изуверства, казалось мне — это совесть шепчет мне в ухо:

— Что, понял теперь, миленький, почему уголь, нефть и сталь полтора десятка лет не сходили с наших газетных столбцов? Потому, что из этих первородных грубых стихий, с прибавкой человеческого творчества, создается таинственный сплав свободы и счастья. Ими заряжаются пушки, они текут в кровь державы... Теперь полностью дошло до твоего сердца вещее капитанское слово, сканное в начале нашего похода к праведной земле: «либо мы сделаем это, либо нас сомнут»? И если ты металлург — не из твоей ли плавки родился снаряд, которым была окончательно расширина брешь в бетоне германской обороны. И если ты текстильщик — не твоё ли прочное волокно вплетено в петлю, в которой со временем повиснут нюрнбергские лиходей. И если ты крестьянин, то, может быть, именно твоей щедрой горстью колхозной ржи были засыпаны глаза главной смертяшки... Бережно хрань на груди этот университетский диплом сталинской науки!.. И если завтра снова повелит капитан удвоить засыпку хлеба в пазуху государства, утроить скорость станков, учтеверить приплод твоих домен и мартенов — станешь ли ты теперь желать времени на перекурку да пряничка к светлому дню? Гляди внимательней на этих призраков фашистской ночи, пока не развеял их в прах приговор трибунала. Тебя даже не засекли бы, из тебя выцедили бы твою жизнь, как из тюбика, по мере надобности для германского хозяйства... если бы не капитанская прозорливость и всенародное трудовое единство рабочих и служащих, солдат, крестьян и нашей отличной

советской интеллигенции. Вот что бывает, когда пять разновеликих пальцев сжимаются в кулак!

И опять не станем перечислять всех этапов того беспримерного поединка со смертью. Мы все — как бирки, на которых каждый денёк войны надёжно зарублен для памяти. Кроме того, у солдат крепче, чем у поэтов, память на события последних лет... Были горестные дни вначале; помнится, чёрный иней свисал с деревьев в эту самую пору, и хлебушко был черствей камня, и самая вода отговаривала пригарью. Не меньше, чем добытую радость, береги эту светлую скорбь по родимой земле, попираемой ногами завоевателя!.. Со сжатыми зубами дралась Родина, и всё дралось в ней—воины и старухи, даже пылающие леса, даже самый воздух, раскалённый русским морозом досиня. Всё двигалось и сшибалось, и, может быть, только он один, Сталин, мыслитель и полководец, стоял так прямо и безмолвно, со своим бессонным штабом, посреди этого губительного вихря воющего железа, огня и разъятых тел. Он был видней всех врагу, как голова партии и армии, и потому это был самый передовой солдат в самой передовой цепи. Как на сторожевую твердыню рушились на него первее всех заботы, тревоги и прямая вражеская ненависть, и всякий из нас, как бы железен ни был он, сломился бы при этом, как тростинка. Вспомни, как качался маятник победы между двух враждебных лагерей, и тогда стало необходимо в каждого вложить частицу капитанской воли, чтоб укрепить решимость к преодолению гибели; так от щепотки благородного вольфрама крепчает и становится несокрушимой сталь. И вот он роздал нам себя... Так сколько же нужно было иметь внутри, чтоб не иссякнуть, чтоб хватило на всех, чтоб по стольку осталось в каждом про запас. Не говоря уже о молодёжи, иным стало душевное вещество и старшего поколения. Это хорошо сознают и наши всемирно знаменитые полководцы, и хозяева заво-

дов, откуда, подобно вулканической лаве, круглосуточно извергались танки и пушки, — блестательные советские артисты и рекордсмены социалистического труда, преобразователи природы, и тот безвестный письмоносец, который понесёт моё слово по всем капиллярам родины, — искатели горных богатств, конструкторы струек машин и строители вместительных палат для них, творцы слова и пахари колхозных нив, мастера атомной инженерии и сами высокие соратники его, на которых лежит его свет, как на его собственном челе почил навечно отблеск ленинского гения. И это есть правда наша, потому что имя Сталина сделалось нынче паролем победы, содержанием эпохи и биографии страны.

Не потому ли с его именем в сердце советские танкисты с таким упорством вгрызались в почти неприступные немецкие фронты, а наши лётчики, пускай — один на шестерых, длинным огнём рубили вражеские эскадрилии? Не потому ли уже сокнутые смертью не имена жены и детей, самого дорогого на свете, шептали холдеющие губы героя, а имя Сталина шептали они, ибо в этом слове заключено будущее Родины и оставляемой семьи? Вот почему выше всяких наград было нам его тихое поощрительное *хорошо*, способное даже по радио, через десяток тысяч таёжных километров, вздыбить морскую волну, двинуть сухопутное железо и воспламенить людские души... Вот мы открываем народам земли самую сокровенную тайну нашего могущества и механизма многократного чуда, происходившего на восточноевропейских полях сражений. Сегодня у нас день «открытых дверей», подобно тому, как это делают наши техникумы и университеты перед началом учебного сезона.

В миллиарды проницательных глаз глядите к нам, во глубину моей отчизны! Поднимитесь выше, выше, пока не замрёт дыханье, чтоб охватить оком, всю сразу,

вечереющую снежную ширь, где мелькнет изредка десяток белорусских хат с розовой колоколенкой посреди, да зелёная шёрстка нерубленого, нехоженого леска, да путаная чёрная тропка, по которой бежит, донскиваясь моря, малая безымянная речка. Вы увидите на горизонтах горы — уральские и кавказские, кольские и памирские, — из апатитов и базальтов, извести и магнитного железняка, приорошенные снежком и слишком ничтожные по высоте для такой необъятной равнины. Натренированный глаз соглядатая различит также сотню — другую, может быть — даже сотню сотен новёхоньких заводов, которые с над-птичьего полёта напомнят вам всего лишь брызги туши на большом бумажном листе. Тогда закройте этот невероятный учебник мудрости и постарайтесь мысленно повторить, что именно довелось вам прочесть в этой сияющей и такой ёмкой странице. И если не сумели вы постигнуть, откуда же родится у нас такая песня, такая титаническая идея об истинном призвании человека, и, наконец, такая сила, готовая поднять с колен весь мир, поверженный перед алчностью, — так, значит, плохо ещё, пинками даувечьями, учила вас грамоте история за последние полвека, — значит, ещё не сполна отплатили вы страданьем этот высший курс науки о людском благе... Однако, глубоко веря в человеческий разум, знаем мы, что как отдельная особь через познание личной выгоды приходит к социализму, так и социальные мыслители планеты через познание национальных преимуществ доберутся когда-нибудь до мысли о всечеловеческом трудовом единстве. Бог в помощь вам, лысые и бородатые дети мира!

Сердясь и покачивая головой, история задаёт вопрос неспособному ученику:

— Ну, раскинь мозгами, сынок. Что же случилось бы, если бы Красная Армия не выстояла, если бы судьба не послала советским народам такого вождя на тяжёлом

рубеже новой эры,— если бы, наконец, неизмеримые площади России с её запасами сырья и глубиной стратегического пространства стали тылами фашистского района и головорезно-хунхузной империи японской?

В силу вышесказанных соображений, прямой логики, сопоставления событий и документов, оглашённых в Нюриберге, мы утверждаем, что история планеты выглядела бы весьма иначе, если бы Сталин не возглавил величавого освободительного порыва народов России: нам было бы любопытно понаблюдать смелые цирковые кульбиты и флик-фляки инакомыслящих мудрецов в их попытках хотя бы частично доказать обратное. Перед человечеством стоял мрак небытия, чернее копотного зева бельзенского крематория, который в своё время превратил бы и оных мудрецов (если только сами они не фашисты!) в легковесный аспириноподобный порошок для удобрения немецкой капусты. Этую простейшую из аксиом мог бы овладеть при усилии даже не очень дряхлый колхозный конь... Дело не столько в поголовном порабощении, которым фашистская доктрина грозила миру; всякое реальное зло весьма недолговечно в сравнении с вечным понятием добра и потому вынуждено постоянно менять форму атаки. Мы совсем не думаем также, что история человечества могла бы закончиться зрелищем нечёсаной нордической твари, обгладывающей в неком-фортабелльной пещере сырую детскую кость. Внуки побеждённых всё равно голыми руками передушили бы одичавших, забывших про огонь добра победителей... Дело в основном замысле фашизма — превратить хотя бы на время всё человечество в стаю борзых собак, и следовательно — в сумму тех усилий, которые впоследствии пришлось бы затратить человечеству для восстановления утраченного. Кто знает, не потребовались ли бы новые Шекспиры и Ньютоны, Чайковские и Толстые, Аристотели и Галилеи, чтобы втащить на прежнюю вершину тяжёлую

колыма гу человеческой культуры? А такие люди приходят в мир поодиночке и далеко не каждый век!.. Поэтому, совсем не навязывая своих суждений другим народам, — никаколько не нуждаясь в самой элементарной признательности со стороны помянутых мыслителей, советские народы полагают, что это Сталин подарил людям вторично их семью и свободу, этот жгучий и свежий январский воздух, и всё общеноциональное достоянье наше, и всё то, из чего составляется великолепное ощущение жизни.

Это и есть причина, по которой мои, русские, велели мне, своему поэту, поднять здравицу за Сталина в дни выборов в Верховный законодательный штаб страны. В благоговейном молчании и с непокрытой головой народ расступается, давая проход первому депутату Родины.

Стеснясь в братский круг, все мы смотрим теперь на человека, стоящего посреди своей семьи. Нам хорошо с ним. Он научил нас не щадить мелкого для достижения большого, и таким путём узнали мы нечто дороже жизни. Мы честно прожили эти годы творчества и борьбы, в которые ташили лемеха новой цивилизации по застарелой целине. Мы впрягли в тот плуг всё, что имели — свою раскованную силу и природные дарования, и этот Человек шёл первым, шёл там, где не виднелось ни следа, ни борозды. Вместе с ним мы воздвигали нашу стройку, по пылинке складывая одну на другую. Уже и сегодня просторно и умно в этом доме, — мы ощутим его тепло, когда такая же красивая и надёжная крыша возляжет на эти циклопические стены... И опять глядим мы в его лицо, — не коснулись ли тяжёлые заботы его душевной молодости. И хотя мы помним, когда прочертилась там каждая морщинка и при каких условиях побелела каждая прядь его волос, мы спокойны за будущее своей страны и своего вождя. — Орлы не стареют, нет таких песен на свете про старость горного орла! С годами лишь уверенней опирает-

ся о ветер его широкое крыло. И чем сильней задувает встречная буря, тем стремительней ввысь подымается орлиная стая вслед за своим вожаком. — Пусть любовь народная охранит его от человеческих бед!

Что ж, посмотрелись, и в дарсгу. Хороша, ясна, заманиста снежная даль юности. Много у ней славного пути впереди. Пусть веселит кровь, жжёт нам щёки докрасна морозный ветерок: это и есть жизнь. А ну, хлестии своих коней, возница!

«Правда», 23 января 1946 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Наша Москва	3
Твой брат Володя Куриленко . . .	6
Неизвестному американскому другу (Письмо первое)	23
Неизвестному американскому другу (Письмо второе)	35
Слава России	46
Поступь гнева	51
Размышление у Киева	55
Ярость	62
Примечание к параграфу	67
Расправа	73
Величавая слава	79
Речь о Чехове	83
Немцы в Москве	92
Сердце народа	97
Факел гения	103
Судьба поэта	111

Утро победы	:	129
Весна народов	:	:	138
Русские в Берлине	:	143
Имя радости	.	.	:	149
Полдень победы	.	:	155
Горький сегодня	163
Когда заплачет Ирма	169
Поездка в Дрезден	.	.	.	:	.	.	.	180
Нюрнбергский змий	:	193
Людоед готовит пищу	.	.	.	:	.	.	.	204
Тень Барбароссы	.	.	.	:	.	.	.	216
Гномы науки	:	227
Слово о первом депутате	.	.	,	237

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

A — 04465. Тираж 100.000 8 п. л.

Подписано к печати 19/VI—1946 г. Заказ 617

Типография газеты «Правда» имени Сталина.
Москва, ул. «Правды», 24.